

Борис Александрович Алмазов

Посмотрите — я расту



О. И. Лопухиной — милой моей бабушке, память о которой всегда со мной.

— Никуда без воспитателя нельзя! — сказал офицер, снял фуражку и стал вытирать платком бритую голову.

Он долго вытирал, потому что мы все вопили, орали и махали руками. А как же нам не орать?! Только что тётенька в шляпе с пером, с блестящим ридикюлем в руках громко говорила:

— Дорогие наши дети! Шефы сделали всё, чтобы вы, наша будущая смена, набирались здоровья. Несмотря на послевоенную разруху, построили вам этот замечательный пионерский лагерь. Здесь есть густой бор, чудесная речка, луга, пруд.

А этот лысый офицер — как обухом по голове:

— На речку нельзя! В лес — нельзя! На лугу гулять только в отведённых местах!

Тут не хочешь, да закричишь!

Я сначала замычал вместе с ребятами из старших отрядов, а Серёга засвистел. У него как раз недавно нижний зуб выпал — ему свистеть удобно. Я свистеть не умею, и я закричал громко:

— А-а-а!..

Серёгу совсем не стало слышно, он свистеть перестал и завизжал. Тогда я набрал полную грудь воздуха да как рявкну:

— Ур-ра-а!

У меня так громко получилось, что все замолчали.

— Ты чего? — спросил Серега. — Чего ты радуешься?

Я совсем не радовался, просто «ура» само выскочило.

Офицер ещё раз вытер голову платком. Лицо у него было очень загорелое и лысина совершенно белая, будто тубетейка надета.

— Ну что? — спросил он замученным хриплым голосом. — Наорались? Головастики с ногами!

Мне представилось, что я головастик и как будто плыву. Я стал извиваться. Алевтина Дмитриевна так на меня посмотрела, словно хотела проглотить, как щука. Она — наша пионервожатая, должна порядок поддерживать; когда мы орать начали, так она вся красная сделалась.

— Ну так вот, — продолжал офицер, — орать вы умеете. Орали хорошо. Соображаете хуже. Товарищи дети! — Офицер заложил руки за спину, и солнышко тускло засверкало в облупленном ордене Красной Звезды на его кителе. — Страна лежит в развалинах. Люди с ног валяются у станков и в полях. А вас в лагерь послали! Вас питанием обеспечили: отдыхайте, набирайтесь сил, граждане СССР! А вы орёте! Я же не для своего удовольствия вам без взрослых ходить не велю. Здесь три года фронт стоял. Фашисты вот здесь, в тридцати километрах от нашего города, сломали себе шею! В этих лесах! — Он поднял над головой кулак и закричал, словно перед ним стояли не мы, а целая дивизия: — Шли ожесточённые бои! Земля тут буквально набита взрывоопасными предметами. Повторяю: никаких железок не поднимать, увидите проволоку — не дёргать! А то беды не миновать. Это я вам точно говорю! Поздравляю вас, товарищи дети, с пионерским летом. Но предупреждаю: кого поймаем в зоне разминирования, — ноги повыдергаем и в уши вставим... — Офицер даже как-то расстроился, отдал честь, сел в пыльный газик и уехал.

И попытался представить, как это будет выглядеть, когда ноги в уши вставят, и все

ребята тоже задумались.

— А сейчас, — прокричала Алевтина Дмитриевна, — Ира Осипян скажет ответное слово нашим дорогим шефам!

Ирка у нас всегда приветствия говорит. И сейчас она шустрой походкой вышла к флагштоку, на котором развевался только что поднятый алый флаг.

— Во! — говорю. — Сейчас пластинку заведёт. Ирина-Мальвина, как будто балерина.

Тут меня Серёга как треснет по затылку. Я маленького роста, так меня всегда вперёд ставят, а Серёга длинный, как жердь, — сзади. Он в Ирину-Мальвину с первого сентября влюбился. И теперь кто про неё что скажет сразу драться лезет.

— Ах ты! — повернулся я. — Жених и невеста, тили-тили тесто!..

Но мне неудобно с ним драться: он дылда, я — маленький. Пока я его за рубаху схватил, он мне ещё в лоб кулаком попал. Я в него вцепился — ногами пинаю. Алевтина подскочила. Стала нас растаскивать.

— Как твоя фамилия?

— Хрусталёв, — говорю.

— Выйди из строя! Будешь накалам! А ещё октябрёнок — будущий пионер.

— А Кирьянов первый начал, — Липский пищит.

— И Кирьянов — выйди из строя! Стыд какой! Перед шефами драку затеять!

Тётка с пером — это она шеф — головой качает, перо на шляпе качается.

— Ай-яй-яй! Как не стыдно! Ну-ка, сейчас же проси прощения.

— И не подумаю! — говорю.

— Ах! — говорит тётка. — Такой маленьким, а уже такой упрямый. Нужно о его поведении родителям сообщить!

Ирка видит — такое дело. Как завопит пронзительным голосом:

— Дорогие наши шефы! Хочется от всей души, от всего сердца сказать вам огромное спасибо...

Тётка с пером заулыбалась, Алевтина салют пионерский отдала. Главное, от меня отстали.

Стою я перед строем, как пугало, и думаю: «Зачем я в этот лагерь согласился ехать? Жил бы себе дома! Это всё мама: „В лагере воздух, ты загорись, окрепнешь...“ А бабушка говорит: „Там питание“. Но я не из-за питания поехал. У нас комната маленькая. Маме чертёжный станок поставить негде. А у неё в этом году диплом! Если же я в лагерь поеду, то можно мою кровать вынести, и тогда чертить будет свободнее... Вот поэтому я и согласился, а не потому, что питание».

Я стою перед строем. Ирка стихи читает про счастливое детство. По моей сандалиии муравей бежит. Я стою наказанный, а он бежит. Он бежит куда хочет, потому что он не наказанный! Рядом с муравьём две капли упали. Это у меня из глаз. Меня же первый раз в жизни наказали! Меня никогда раньше не наказывали.

Глава вторая

ПОДУШЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»

Горнист заиграл. Отряды один за другим пошли к своим палатам. Я не заметил, как исчез Серёга. Но мне никто не говорил, что меня простили, и я остался один на усыпанной жёлтым носком площадке. Флаг хлопал над моей головой.

Меня никогда не наказывали и даже ругали очень редко. Можно сказать, вообще не ругали. Нужно, чтобы человек понял, что он поступил плохо. Но для этого совсем необязательно ругать и в угол ставить. Я, например, сразу по маминому лицу вижу, если что не так. Она только посмотрит на меня — и всё!

Серёгу Кирьянова отец ремнём порет, так он боится. Как на него отец строго посмотрит, так он сразу вопить начинает:

— Папочка, миленький, я больше не буду...

А я не боюсь. Мне жалко маму.

Один раз я заигрался с ребятами на соседней улице до темноты, а когда пришёл домой, то мама с бабушкой сидели в комнате, и свет не горел. Я включил, и мне так стало нехорошо. Я бегал, про них совсем забыл, а они тут в темноте сидят и ждут меня.

Когда мне плохо, лучше всего помогает Подушечный Человек. Мне его бабушка сделала, когда я совсем маленький был. Тогда шла война и никаких игрушек не было. Бабушка взяла мою подушку и пришила к ней ручки и ножки, и вышила лицо нитками. Получился Подушечный Человек. Я пока в первый класс не пошёл, без него заснуть не мог.

Я его очень берег. Когда начиналась бомбёжка — первым делом хватал его и бежал на Савинский бугор за домом, там у нас была щель вырыта. И сидел там с Подушечным Человеком в обнимку.

Однажды Ирина-Мальвина пришла ко мне поиграть (она же со мной в одном доме живёт и в нашем первом «а» учится), увидела Подушечного Человека и спрашивает:

— Это что?

Я говорю:

— Не что, а кто.

— А как его зовут?

Я даже удивился:

— Как это — как зовут?

Разве у моего Подушечного Человека может быть имя, что он, кукла, что ли? В куклы только девчонки играют.

Я люблю вечером обхватить его руками, сесть на подоконник и сидеть тихонечко — смотреть на звёзды.

Один раз мама спрашивает:

— Ёжик, что ты притих? Поиграл бы...

— Не трогай его, — бабушка говорит. — Он и так играет. — Погладила меня по голове и добавила: — Он растёт.

Я вспомнил бабушку, маму. Подушечного Человека — и мне стало еще грустнее. И слёзы закапали ещё быстрее. Я их вытираю, а они снова на щеках появляются... Я, конечно, виноват, что над Ириной-Мальвиной смеяться стал, но ведь Кирьянов первый драться полез, я его не трогал...

Вдруг мне на макушку легла ладонь. Большая. Горячая. Оглянулся — тётя Паша, наша повариха, стоит.

— Ты это тут чего? — спрашивает. — Ой, да и слёзы! А ну пойдём со мной!

— Как же, — говорю, — я пойду? И же наказанный!

— Я с тебя наказание снимаю.

— Но меня же пионервожатая наказала.

— А кто, по-твоему, главнее? — спрашивает тётя Паша. — Если она забудет горнисту приказать, так он и сам в дудку прогудит. А ежели я обед не стготовлю? Чего будет? А? Ну пойдём, пойдём, а то обрыдался весь.

Мы прошли через лагерь, мимо длинной столовой, где девочки из второго отряда расставляли на столах тарелки, обошли кухню, откуда пахло замечательными капустными щами. За кухней был маленький дворик, стоял стол. И под навесом пыхтел титан. За столом сидел дяденька в тельняшке и пил чай.

— Вот, — сказала тётя Паша, подтолкнув меня своим огромным животом к столу. — Вот компанию тебе, Толя, привела. Штрафник. Из наказанных, значит.

— Честь и место, — сказал дяденька, подвигаясь на скамейке. — За что взыскание?

— Подрался, — ответил я струдом, потому что слёзы стояли совсем близко.

— Ну-ну-ну... — Он погладил меня по голове. — Не огорчайся. Это всё семечки. Не беда, что сейчас плохо, дай срок, будет ещё и хуже...

— Ну-ко, — тётя Паша ловко очистила огромным ножом и подала мне здоровенную морковку, — испробуй для аппетита.

Но морковка не лезла мне в горло. Потому что нос у меня ещё хлюпал.

Дяденька словно не замечал моего настроения.

— Вот чаю попьём и будем с тобой дрова на завтра пилить. Зовут-то тебя как?

— Боря.



— Эх, Боря, не видать бы тебе горя! — вздохнул он. — А меня дядя Толя. Да ты не расстраивайся... Ты мне как бы в помощь пришел, а то одному пилить не сподручно. Пила-то о двух концах. Ну, пошли. Морковку я в газетку заверну. Потом съешь, как проголодаешься.

У маленького сарайчика земля была мягкая от опилок. Дядя Толя вытаскивал из штабеля большие плахи, клал на козлы, и мы пилили. Когда я устал, дядя Толя брал топор и с уханьем колот чурбаны на белые чистенькие полешки. Я бегал вокруг, подбирал их и укладывал в поленницу. Дрова так приятно пахли, а дядя Толя так ловко их колот, да ещё всё время приговаривал: «Берёза-берёза трещит от мороза... Осина не горит без керосина», — что я скоро словно забыл, как стоял перед строем и плакал.

— Перекур!

Мы сели на скамеечку под деревом, где в землю была вкопана бочка с водой.

Дядя Толя свернул из газеты папироску трубочкой, а я достал из кармана морковку и стал грызть.

Над нами плыли облака, по крыше сарая прыгали воробьи, а высоко-высоко в небе переливчато свистел жаворонок.

Хоть и большая была морковка, а сгрыз я её очень быстро. Она так и брызгала соком, даже ладони у меня стали оранжевыми. Явытер их о доски скамейки, посмотрел на облака, поболтал ногами, а дядя Толя всё молчал, всё покуривал козью ножку.

— А вы моряком были? — спросил я.

— Нет, — ответил он и разгладил тельняшку на груди. — Это сыночка моего, Шурика, память.

Он загасил аккуратно окурок, положил его за ухо, и мы опять взялись за пилу.

— Я в ополчении был, да недолго. Контузило меня. А Шурик, сынок мой, до войны срочную на флоте служил, вот и присылал тельняшки да брюки клёш. А в сорок первом пошёл в морскую пехоту, на Невский пятачок... — Плашка развалилась, дядя Толя поднял с земли чурбан и прижал его к себе, как ребёнка или как снаряд. — По первому ледочку пошли они, милые, по Неве. Ботиночки сливочным маслом, последышками, смазали, бескозырочки набекрень, винтовочки наперевес...

И он замолчал, глядя куда-то поверх крыши сарая, точно видел белоснежную гладь замёрзшей реки и цепи моряков в чёрных бушлатах.

— Дровосеки! — позвала из кухни тётя Паша. — Обедать.

— Пойдём руки мыть!

Тётя Паша поставила на щелястый стол тарелки со щами.

— Мне же в отряде обед дадут, — сказал я.

— Ничего. С отрядом второй раз покушаешь. Жерновок-то у тебя сейчас хорошо мелет. — Она хлопнула меня по животу. — Ешь. Тебе расти надо.

Ели молча. Дядя Толя осторожно нёс ложку, подставляя под неё кусок хлеба.

Потом были макароны и компот.

— Перекур с дремотой! — сказал дядя Толя после обеда, и мы уселись на солнышке, у стены кухни, где уже сидели две нянечки и судомойка.

Нянечки разговаривали, а судомойка, совсем ещё молоденькая, конопатая девчонка, тихонечко напевала:

Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...

Я эту песню люблю. Я вообще люблю песни и петь люблю. Но мне нравятся взрослые песни. А в школе поём: «Серенькая кошечка села на окошечко, хвостиком виляет, деток собирает...» Села на окошечко и пускай сидит. Мне какое дело до этой серенькой кошечки? Я по-настоящему пою дома, а в школе только так, рот открываю: «Патоку соберём, варил дядя Симеон...» Что за патока такая? Зачем её дядя Симеон варил?

Дома мы поём на два голоса. Я — первым, мама — вторым. Только она поёт редко, потому что занята всё время: работает, учится. Я один раз пел про рябину. А мама говорит бабушке: «Смотри, наш Ёжик поёт, как большой, словно всё понимает!»

Мама думала, я не слышу её слов. А я слышал. Конечно, я всё понимаю. Это ведь песня не про дерево, хоть оно и красивое, это про людей. Про то, как грустно, когда человек один остаётся. Вот моя мама, и я, и бабушка — как бы нам хорошо было с папой жить, но его убили на войне, вот и «нельзя рябине к дубу перебраться». Значит, это песня про нас. Это и про дядю Толю, про его сына-моряка... А про рябину поётся, чтобы никому обидно не было: вроде эта песня только про деревья, а там понимай сам.

— А вот, — сказал дядя Толя, — нам сейчас народный артист республики Боря споёт или стих скажет.

Нянечки и судомойка заулыбались и захлопали в ладоши.

Я решил, что спою свою самую любимую песню про крейсер «Варяг». Я встал, потому что не такая это песня, чтобы её сидя петь. Я когда эту песню пою, у меня на руках гусиная кожа делается.

Наверх вы, товарищи, все по местам!

Сначала получилось негромко, потому что трудно так сразу, с бухты-барахты петь. Но посмотрел я на дядю Толю, на его тельняшку, и запел во весь голос:

...Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

У нас есть старые журналы «Нива», и там на фотографиях и этот крейсер, и красивые старинные моряки с усами... И море в столбах взрывов.

...Из пристани Верной мы в битву пойдём
Навстречу грядущей нам смерти!
За Родину в море открытом умрём...

Я когда это пою, мне кажется, что в руках у меня знамя и вокруг плечом к плечу стоят матросы. Некоторые падают, потому что «свистит, и гремит, и грохочет кругом... И судно охвачено морем огня».

Из дверей кухни вышла тётя Паша, руки у неё были в тесте, но она даже не отирала их.

Прощайте, товарищи, с богом...

Голос, у меня сорвался, потому что у меня всегда в этом месте в горле появляется ком.

— Ура! — вдруг выдохнул дядя Толя.

Он обхватил меня рукой и прижал к себе. И мы запели вдвоём:

Кипящее море под нами!
Не думали, братья, мы с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами!

Мы спели, но я всё ещё не мог отдышаться, и сердце у меня громко билось. Тётя Паша подошла и поцеловала меня.

— Да! — сказал дядя Толя хриплым голосом. — Хорошо. Даже очень замечательно! Высоко спел!

— Хрусталёв! — услышал я за своей спиной. — Вот ты где! Отряд его по всему лагерю ищет, а он тут песни распевает!

Я обернулся. Позади меня стояла разъярённая Алевтина Дмитриевна.

— Алюшка! Да ты что! — заговорила тётя Паша. — Да ты его не ругай!

— Тётя Паша! Вы представляете, у меня октябрёнок пропал! Вы представляете, что я переживаю! Я же отвечаю за каждого!

— Да мы сами виноваты, — сказал дядя Толя. — Ты, доченька, его не ругай...

Как не ругать! Сорвал линейку! Ушёл куда-то без спросу!

- Да это мы его задержали! Он нам помогал тут!

— Хрусталёв! Марш немедленно в отряд! И чтобы близко около кухни тебя не было.

— Ступай, сынок, ступай! А ты, девонька, сильно-то не шуми...

Я не стал слушать, что они там будут говорить. Повернулся и пошёл к нашей палате.

Глава третья

ТИХИЙ ЧАС — НЕ ДЛЯ НАС!

— Где ты был? — спросил Серёга, когда я пришёл в палату. — Алевтина мяч принесла. После тихого часа в футбол будем играть.

— Настоящий мяч?

— С покрышкой и с камерой! Футбольный! У нас как раз две команды набрались!

— Чего ж вы меня не подождали! Эх, ты! А ещё друг!

— А всё равно тебе сговариваться не с кем. Нет тебе пары. Один Липа остался. Хочешь, сговоришься с ним.

Я побежал искать Липского. Он стоял по колено в пруду.

— Липа! Вылазь! Айда на футбол сговариваться.

— Не-а!

— Да ты что! Мяч новенький! Кожаный!

— Не-а! — повторил Липа, нашаривая руками что-то в воде. — Я в футбол не играю: могут подкувать. Бутсов у вас нет. Как куванут под коленку, всю жизнь хромать будешь. И ты, Хрустя, не ходи. Давай лучше земноводных тритонов ловить.

— Каких ещё тритонов?

— Во! — Липа поднял над головой банку. — Видал, какие тритончики. Во, какие хорошенькие! — Липа вытащил одного. И начал поглаживать его по спинке. — А лапочки какие хорошенькие! Как ручки! Хочешь подержать?

— Липа! — сказал я. — Тритоны твои никуда не денутся, а там играть начнут. Пойдём только сговоримся, а потом, глядишь, кого-нибудь куванут — и тебе уйти можно будет.

— Меня и куванут. Не пойду. Я ещё лягушек наловлю, головастиков — можно будет живой уголок организовать.

— У, Липа несчастный! Я вот возьму и всех твоих тритончиков хвостатых повыкину из банки!

— А я тебе в койку пивок понапускаю или ужа принесу, — невозмутимо сказал Липский и опять полез в воду.

«Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!» — запел горн, и отряды пошли в столовую. Там я нашёл себе напарника из шестого отряда. Он, правда, на год или на два нас старше, но ничего, не дылда. Мы хотели сразу бежать играть после обеда, но Алевтина Дмитриевна отобрала мяч и велела два часа спать.

Мы нехотя разделись, легли. За раскрытым окном ветерок шевелил листья на кустах и деревьях, и солнечные зайчики прыгали по дощатому потолку.

— Я Наполеон! — сказал Федул не из нашего класса. Он поднялся на кровати, а подушку углом на голову надел.

— Батарея! — закричал Серёга. — Огонь!

Штук пять подушек полетело в Федула. Он так и сел. Как начали мы подушками кидаться! Простыни развеваются! Пух летит! Прибежала Алевтина Дмитриевна.

— Это что такое? Немедленно лечь и успокоиться!

Только мы легли, слышим — в соседнем домике у девочек визг поднялся. Она — туда.

Тут Серёга вскакивает:

— Тихий час — не для нас!

И опять кутерьма началась. Алевтина Дмитриевна то к нам, то к девочкам бежит. Как прибежит — всё стихнет. Мы лежим, глаза закрыты, только пух в воздухе плавает. Уйдёт — опять сражение!

Мне Федул как закатал подушкой по голове. Я наметился в него, а тут дверь открывается — и подушка прямо Алевтине Дмитриевне в лицо. Все так и ахнули.

— Ну, всё! — прошептал Липа. — Теперь тебя из лагеря выключат.

Сразу стало тихо. Алевтина Дмитриевна ничего не сказала, так и стояла с подушкой в руках. Глаза у неё широко открылись и губы дрожали. Потом она положила подушку и молча вышла.

— Не заметила, кто в неё попал. Повезло тебе! — сказал Серёга. — Эй, вы! Кто Хрустю продаст — смотрите!

— Спать давайте! — сказал Федул не из нашего класса, и все завозились, укрываясь одеялами. Скоро многие засопели.

А я никак не мог уснуть — всё вспоминал, как у Алевтины губы затряслись. «Так ей и надо! — говорил я себе. Будет знать, как меня наказывать. Маме она моей пожалуется! Вот и хорошо, что попало ей подушкой». Но на душе было скверно.

Мальчишки и девочки нашего отряда жили в разных домиках. Алевтина помещалась в комнатке в девчоночной палате, а у нас, — тётя Паша. Я как раз лежал у тоненькой фанерной перегородки, которая отделяла нашу палату от тёти Пашиной комнаты. Вдруг там хлопнула дверь, и я услышал голоса.

— Да что ты, доченька, так убиваешься! — говорила тётя Паша. — Ведь они небось нечаянно, не специально!

— Не утешайте меня! — отвечал голос Алевтины. — Они меня совершенно, совершенно не уважают, ни капельки... Попали подушкой в лицо, ну хоть бы извинились... А этот Хрусталёв! Такой маленький и такой злой! — И она вдруг всхлипнула.

«Значит, видела, что я попал!» — подумал я.

— Ну не расстраивайся! Не надо!

— Кинули, попали в лицо, и никто не признался! Никто!

«Значит, не видела!» — подумал я.

— Да ты не расстраивайся. Может, ещё признаются... Самой-то тебе сколь годов?

— Семнадцать.

— Э-э-эх! — вздохнула тётя Паша. — Тебе бы не пионервожатой, а пионеркой в лагерь поехать. Сама ты ещё ребёнок.

— Ну что вы говорите такое! — возразила Алевтина. — Я же через год техникум кончу! Ведь сейчас у меня практика. Тётя Паша, я ведь через год буду учительницей, я так боюсь, что вдруг не смогу их любить. Я так стараюсь для них, а они все какие-то замкнутые, злые...

Вот тебе раз! Алевтина, которая мне казалась ужасно взрослой, недоброй и

несправедливой, которая заставила меня стоять перед строем, перед семью отрядами на линейке, которая посмела меня наказать, и наказать напрасно, потому что я не был виноват, а если и был виноват, то не настолько, чтобы позорить меня на весь лагерь, — эта Алевтина плакала.

Я ее ударил! То есть не то что ударил, а попал подушкой, но это одно и то же. Представляю, что сказала бы об этом мама или бабушка.

Они поставили бы меня перед портретами. У нас над бабушкиной кроватью висят три портрета: дедушки, дяди и моего папы, и за каждым портретом заткнута тоненькая серая бумажка. Похоронка. Там написано: «Наш муж» (это дедушка), а в двух других: «Ваш сын» (это дядя и папа), а дальше: «проявив мужество и героизм, пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».

Бабушка поставила бы меня перед портретами и сказала:

— Им стыдно за тебя! И мне стыдно! Я плохая бабушка, я не могу воспитать тебя как следует.

«Вставай, вставай, рубаху надевай!» — запел горн. Тихий час кончился.

«Что же мне делать?» — думал я за полдником, посматривая на пионервожатую. Она прохаживалась между столами, и глаза у неё были красные.

Когда мы сговаривались с тем мальчишкой из шестого отряда, чтобы играть в футбол, я всё никак не мог придумать себе слово, ну, чтобы подойти к капитанам и сказать: «Мать, мать, что тебе дать: овёс или пшено, воду или камень?..» — ну, или ещё что-нибудь.

Стали играть — по мячу попасть не могу, два раза такой момент был, что чистый гол получался, а я всё мимо да мимо.

Тут Серёга подходит.

— Знаешь что! — говорит. — Ты или играй, или уматывай!

— Может, ты заболел? — Колька Осташевский спрашивает.

— Да гоните этого хилытика! Я вам сейчас хорошего игрока приведу! — Надо же, это тот парень из шестого отряда кричит, которого я сам позвал играть.

— У тебя игра не вяжется! — сказал Серёга авторитетно. — Соберись! Играй энергично. — Это он таких слов по радио у комментатора Вадима Синявского наслушался.

— А подите вы со своим футболом! — сказал я и вышел из игры.

Стал по лагерю бродить. Все делом заняты. В первом отряде плот строят. Во втором девочки с аккордеонистом песню учат. В третьем — газету выпускают, шахматный турнир проводят и ещё выпиливают, только опилки столбом из-под лобзиков летят. Наши девочки с Алевтиной вышивать учатся. Одному мне, деваться некуда. Ходил я, ходил — и забрёл опять на кухню.

— Во! — сказал дядя Толя. Он точил пилу. — Опять наш Боря грустный. Чего стряслось?

— Я подумал и рассказал всё как есть.

Это тебя совесть мучит! Она, проклятая, иной раз житья не даёт! — Он встал, и пила в его руках блеснула, как большая рыба. — Умел кот сметану съесть — умей, кот, и трёпку съесть. Я так полагаю, должен ты у Алевтины прощения попросить. И не затягивай это дело. Давай иди извиняйся. Ну, чего мнёшься? Стыдно? А! Вот то-то. А ты подумай, что может хуже быть. А вдруг ваша пионервожатая решит, что в неё другой кто попал? И будет ему наказание. Это значит, ты невинного

человека под монастырь подведёшь.

Он ушёл в сарай, а я всё никак не мог пойти к пионервожатой. Ноги у меня как свинцом налились. Я походил по двору, попинал ногами щепки. Палец ушиб.

— Ты всё ещё тут? — Дядя Толя вышел из сарая. — Вот ты, братец мой, какая загвоздка. — Он даже в затылке почесал. Ну что поделать, пойдём вместе! Я вроде как для поддержки. — Алевтина Дмитриевна! сказал он тихонечко пионервожатой. — Вот тут молодой человек к вам дело имеет, а сказать стесняется.

— Что такое, Хрусталёв? — спросила Алевтина строго. — Говори.

— Дело деликатное, — подмигнул дядя Толя. — Требуется одиночества, с глазу на глаз.

Девчонки, что сидели вокруг Алевтины с иголками и нитками в руках, от любопытства шеи вытянули. У Ирины-Мальвины уши чуть не шевелятся.

Алевтина Дмитриевна встала, отошла ко мне, а дядя Толя стал рассматривать и удивляться, что там понавышивали девчонки. Он так ахал и разводил руками, что они забыли про меня.

— Ну, в чём дело, Хрусталёв?

— Алевтина Дмитриевна... — сказал я, и мне не хватило воздуха. — Алевтина Дмитриевна! Простите меня, пожалуйста, это я в вас подушкой попал. Я нечаянно, я не хотел!..

Что тут случилось! Алевтина вдруг обняла меня за плечи! Заулыбалась!

— Ну что ты, Хрусталёв! Я, конечно же, тебя прощаю! Ну чего не бывает, я и забыла об этом...

Мне даже показалось, что она сейчас прыгать начнёт. И у меня сразу на душе стало хорошо и спокойно.

— Так что? — подошёл к нам дядя Толя. — Товарищ пионервожатая, в село я иду, насчёт молока к ужину. Надобен мне помощник. Вот Боря, я думаю, свободен... Может, отпустите его со мной?

— Да конечно, конечно! Пусть поможет. Ступай, Хрусталёв! — И она нам даже рукой помахала.

Глава четвёртая

ТЫ ГУЛЯЙ, ГУЛЯЙ, МОЙ КОНЬ!

— Ничего нет лучше спокойной совести! — сказал дядя Толя, когда мы вышли за ворота лагеря.

— Это точно! — согласился я.

— Даже и мне на душе полегчало, как ты признался.

Дорога шла через лес, и солнце, которое уже повернуло на закат, светило сквозь деревья. Я ещё никогда не был в таком лесу, и мне здесь всё нравилось.

Какие-то птицы перелетали и свистали в кустах, высоченные сосны качали головами, жёлтые стволы их казались золотыми у вершин.

А за лесом был луг, и невидимые кузнечики стрекотали так, что звенело в голове.

— Здесь ходить безопасно! — сказал дядя Толя. — Здесь в прошлом годе сапёры всё вычистили. Уж возили они, возили этих мин да снарядов! Всё лето по ночам только и слышно было, как в карьере бабахало! Теперь у Берёзовки поля чистят. Я дня три назад ездил, так у них там гадости этой железной — горы!

— И оружие есть?

— Да там танки целые в земле закопаны, не то что оружие, век бы его не знать! Тут после войны жители по верёвке ходили.

— Как это?

— А вот так: пройдут сапёры, протянут тропу, верёвками, значит, её огородят, вешками, вот народ вешек этих и придерживается. Чуть в сторону — подорвёшься. Сейчас-то уж всё разминировали, немножко совсем осталось. А то и хлеб сеять негде. Вот за тем леском одно поле и осталось...

Мы вышли к реке. Она широко разлилась по топким лугам.

— Обожди-ко маленечко! — сказал дядя Толя. — Я сапоги сниму. Ну-ко тяни.

Я тянул изо всех сил. Стащил сапог с одной ноги, потом с другой. Дядя Толя закатал брюки, я тоже было хотел снять сандалии.

— Не надо! — сказал он. — Не разувайся, я тебя переносу.

И не успел я возразить, как он поднял меня на руки.

— Эва! Лёгонький-то ты какой! Как перышко. Каши, что ли, мало ешь? Держись за шею. А то скользко тут. Дно глинистое.

Я обхватил его руками, и он понёс меня, осторожно нащупывая ногами дно.

Я касался его колючей щеки, от него пахло махоркой и потом. Если был бы жив мой папа, у него тоже были, наверное, такие крепкие руки!

У дяди Толи была тёмно-коричневая от загара шея, вся в складках и морщинах. И я вдруг подумал, что он очень старый. Виски у него были совсем белые, а вокруг глаз мелкие морщинки, словно в стекло камешком попали и трещины пошли.

И совсем он не дядя, он — старик! И мне стало его так жалко, что я невольно обхватил его ещё сильнее.

— Не бойсь! Не бойсь, не сроню! Дошли ужо, — запыхавшись, проговорил он. — Вот недельки через две мост доделают, тогда через брод ходить не надо будет, —

сказал он, на берегу вытирая ноги портянками и обуваясь. Помолчал и задумчиво протянул: — Да, кабы не война, мог бы у меня твоих лет внучок быть! Свободное дело.

— Когда я вырасту, — сказал я, — я изо всех сил постараюсь, чтобы стать героем!

— Ну? Это зачем же?

— Чтобы всем, кто меня любит, был почёт и уважение во всём мире! Я один раз видел, как бабушку на машине с почётом везли: у неё сын Герой Советского Союза. И ещё я заработаю много денег. Куплю маме пальто! А то она в шинели ходит. Как пришла с войны, так в этой шинели и ходит. У других тётенок пальто и шляпы, а у моей мамы только шинель перешитая! Я куплю ей пальто первым делом. И вам куплю всё, чего вы хотите! Вы что любите?

— Спасибо, сынок! — ответил дядя Толя каким-то странным, сиплым голосом и положил мне руку на плечо. — Мне ничего не надо. У меня всё есть. Я всем довольный.

— Я вам десять пар сапог куплю!

— Да куда мне десять? Ног-то у меня только две! — засмеялся дядя Толя.

— А вы своим друзьям отдадите!

— Эва! — опять засмеялся старик. — У меня в живых-то один дружок Коля-мордвин, ему и двух сапог много, он с фронта на деревянном коне приехал.

— На каком?

— На одной ноге, а другая — деревянная.

— Да я вам чего хотите подарю!..

— Так уж подарил, — сказал дядя Толя. — Ты хоть бы не забыл меня. Вырастешь, приедешь в гости — вот мне будет радость.

— Ох, как я к вам приеду! С оркестром! Может, даже на коне! Когда я вырасту большой, мне бабушка разрешит папину кубанку каждый день надевать! Я приеду в кубанке! Как раз у меня голова тогда подрастёт. В этом году за то, что я первый класс с почётной грамотой окончил, бабушка дала её один раз перед зеркалом поморить, но она мне велика. Очень красивая кубанка, белая с красным верхом. Настоящая казачья военная кубанка, но мне ещё пока велика.

Я вспомнил тот день, когда бабушка внимательно прочитала почётную грамоту и надпись в книге, которую я получил за успешное окончание первого класса, за отличные оценки в учёбе и примерное поведение. Потом сняла фартук, причесалась, достала из комода папину кубанку и надела мне на голову.

Эту кубанку привезли папины товарищи после войны и сказали, что папа велел мне передать, когда умирал в госпитале. И вот я надел её первый раз в жизни! И голова моя утонула.

Кубанка пахла дымом и ещё каким-то запахом, который я раньше никогда не встречал.

— Я похож на папу? — спросил я, смотрясь в зеркало.

— Вылитый, — ответила бабушка. И, уткнувшись в донышко кубанки, заплакала.

— Приедешь — и хорошо, — сказал дядя Толя. — Вот за разговорами и дошли незаметно. Вон деревня.

Вдоль улицы с одной стороны стояли весёлые, с голубыми наличниками дома, а с

другой были какие-то бугры с трубами, из них кое-где вились дымки.

— Немец деревню сжёг, — пояснил дядя Толя. — В землянках живут. Обстраиваются потихонечку. Вот уж пол-улицы построили. Не горюй! Построим лучше прежнего.

Мы прошли улицей; на крылечках сидели старушки, пугливые малыши в грязных рубашонках выглядывали из землянок, два старика тесали жерди, приветливые псы махали хвостами и задирали ноги на брёвна, лежащие вдоль улицы.

— Сейчас в землянках, почитай, никто уже и не живёт, так вроде как кладовки, по старой памяти печки топят. — Дядя Толя словно извинялся за то, что я видел.

— Вокруг нашего дома в городе, — сказал я, тоже всё сгорело. Наш дом каменный, четырёхэтажный, и ещё несколько домов каменных уцелело, а все деревянные сгорели. Я не помню, как они горели, а бабушка говорит — страшно было. Немцы совсем близко подошли. Мама на фронте, папа на фронте. Эвакуация закончилась, а мы остались. Бабушка решила — будь что будет... Ничего, дядя Толя, всё построим! Ещё как построим!

И вдруг я почувствовал знакомый запах! Так пахла папина кубанка! Мы подошли к большому сараю. И я увидел живую лошадь! Этот запах шёл от неё. Я первый раз увидел так близко живую лошадь!

— Доброго здоровьчка! — сказал мужик с деревяшкой вместо ноги, что сидел на лавочке около конюшни. Дядя Толя присел рядом, они закурили, стали разговаривать про какие-то скобы, про шифер, про тёс... А я всё ходил вокруг лошади. Всё рассматривал её и упряжь, всё не мог надышаться её запахом.

Лошадь смотрела на меня фиолетовыми глазами, обмахивалась хвостом от мух, вздыхала, переступала. Огромная, тёплая, покрытая гладкой шерстью, она возвышалась над моей головой. Я стал рвать траву. Лошадь потянулась и шёлковыми губами приняла у меня из ладоней корм. Я гладил её по выпуклой груди, по животу, где под кожей проглядывали упругие жилы, и не мог оторваться.

— Вот как прилип! — сказал одноногий мужик. Это, наверное, и был дядя Коля-мордвин.

— Кровь его такая, — сказал дядя Толя. — Отец у него в казаках служил.

— Погиб?

— Известное дело! Кавалерия... Одна кубаночка с войны возвратилась. Бабка внуку за великие заслуги её надевать даёт.

— Ишь ты! — сказал одноногий. — И заслуги имеет?

— А ты думал! Отличник — раз! Песни поёт! Так «Варяга» пел, как в Большом театре хор Пятницкого! Это два! И вообще парень исправный.

— Спел бы, — сказал инвалид.

— При другом случае. Сейчас молоко надо везти, к ужину не успеем.

Мы сели в телегу.

— Ну!.. — сказал страшным голосом дяди Толя, и лошадь тронулась. Мордвин помахал нам кепкой. Мы заехали на форму, где рогатые коровы рассматривали меня, как диковину, и шумно сопели блестящими, большими, как блюдца, носами. Дядя Толя грузил бидоны на телегу.

Мы выпили молочка, и доярки посетовали, что нет хлеба.

— Ничо, бабоньки, — сказал дядя Толя. — Была б земля — хлеб будет. — И мы

тронутись в обратный путь.

Мы поехали через деревню, с телеги мне было хорошо видно разбитые фундаменты и груды кирпичей на мосте сожжённого села.

— Чего загрустил? — спросил дядя Толя. — Ты не дома жалеешь, ты людей жалеешь... Дома-то новые поставим, а людей не вернёшь. Пошло нас на фронт девяносто три человека, а вернулось двое. А давай-ка мы с тобой споём лучше! — И, не спрашивая моего согласия, передал мне вожжи.

Ух ты! Я правлю конём! Я правлю конём. Эта большая лошадь слушается, что я ей веляю!

— Но, но!.. — кричу я и хлопаю вожжами, как взрослый, и она бежит рысцей. — Тпру!.. — и она замедляет бег и, кивая головой, обмахиваясь хвостом, трудолюбиво и споро тянет телегу.

Как по лужку при луне
При счастливой доле... —

запевает дядя Толя хрипловатым прокуренным голосом:

— Знаешь такую песню?

При знакомом табуне
Конь гулял по воле! —

подхватываю я и чувствую, как голос мой звенит и разносится далеко по лугам и лесам.

Дядя Толя одобрительно похлопывает меня своей огромной рукой по спине в такт словам, лошадь бумкает копытами, скрипит телега.

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймаю!
Как споймаю, зануздаю
Шёлковой уздой...

— Пррри-ими-и-и! — слышу я крик сзади. Мальчишки, болтая локтями, пролетают мимо на разномастных лошадёнках.

— В ночное поскакали, — говорит дядя Толя. — Ночью, значит, коней пасти будут.

«Какое счастье скакать на лошади!» — думаю я, и сердце моё сжимается от зависти к этим мальчишкам, что пылят уже за бугром.

Солнце цепляется за кусты, оно стало красным и нежарким. Идёт вечер. Скоро наступит ночь. Первая ночь, которую я буду спать не дома. Впечатления дня распирают мою голову: линейка, деревня, наказание и прощение, футбол всё перемешалось. Но самое главное — кони, кони скачут, стоит мне только сомкнуть веки.

— Кони скачут... — шепчу я, засыпая.

Глава пятая

ПРИВИДЕНИЯ В БОЛОТЕ

— Вставай! Вставай! — кто-то шепчет мне в ухо, и с меня стягивают одеяло. Я открываю глаза и вижу Серёгу, он стоит, закутавшись в простыню, как в плащ. — Айда девчонок пугать!

— Не пойду я!

— Да ты не бойся! Тётя Паша спит уже, — шепчет Серёга. И правда, из-за загородки раздаётся такой храп, точно шкаф с посудой двигают или танк идёт.

— Я не боюсь, — говорю я. — Не хочу, и всё.

— Это он выделяется! — пищит Липский. — Показывает, какой он особенный. Или влюбился в кого-нибудь — пугать не хочет.

Сам Липа уже простыню на голову натянул. Только он больше смахивает не на привидение, а на тощего зайца.

— Просто дрейфит на улицу идти, — Федул говорит.

— Ничего он не дрейфит! — говорит Серёга. — Он просто ещё не петрит, какую мы мощную штуку надумали. А он пойдёт. Он настоящий друг.

Взял я простыню, надел сандалии, и мы пошли, хотя мне идти совершенно не хотелось. Стали дверь открывать, а она как заскрипит.

— Эй, вы куда? — поднял с подушки голову Колька Осташевский.

— Не твоё дело!

— Подождите, я с вами пойду.

— Бежим! — шепчет Серёга. — Меньше народу — больше кислорода.

Выскочили мы из дому. Темно. Ничего не видать. Вроде и недалеко отбежали, а не сообразить, куда идти нужно. Холодно, ветер дует. Мы сразу намёрзли. Мы же в одних трусах. Пробежали чуть вперёд. Друг за друга держимся.

— Стойте! — говорит Серёга. — Бабский дом не в этой стороне.

Пошли в другую сторону и сразу упёрлись в болото — Липский завяз, захныкал:

— Вот, сам не знаешь, а ведёшь! Тут вообще никакого болота не было... Простудить меня хочешь, у меня и так горло болит. И сандалия из-за тебя утонула...

— Сандалия, горло! Поменьше бы в пруду своих тритонов ловил.

— Постойте, — говорю, — не ругайтесь! Сейчас, может, выйдем. Лагерь забором обнесён, так? Куда ни пойдём, обязательно в забор упруемся, а там по забору на дорожку выйдем, что от ворот к палатам идёт.

— Хрустя! — говорит Серёга. — Иди ищи дорогу. А мы этому дураку будем сандалию искать.

Пока я был с ребятами, ещё ничего, не страшно было, а как отошёл от них, стало мне не по себе. Деревья где-то невидимые шумят, ветер воет, простыня на мне развеивается, по ногам хлещет, ноги по траве скользят. В голову лезут всякие мысли про привидения. От этого у меня зубы начали стучать.

Но вышла луна и всё осветила. Вон палата наша белеет, а вон ребята идут, в простыни завернутые. Вот ведь что в темноте происходит: я думал, от ребят иду, а

оказывается — к ним.

— Эй! — кричу. — Пугальщики! Вон наша палата!

Они почему-то сначала присели все трое, а потом кинулись бежать в разные стороны. Я, конечно, побежал за ними. Что они, с ума посходили? Догнал одного, схватил за простыню, она у него на шее завязана. Он упал — сипит, как чайник:

— Ма-а-а-ма...

Смотрю, а это Колька Осташевский! Это он, значит, как только мы ушли, других мальчишек подговорил привидениями нарядиться. Стал я ему вдалбливать, что я Хрусталёв, вдруг из кустов Федул вылетает.

— Привидения! Привидения! — кричит. Нас увидел — совсем ополоумел.

«Ну, — думаю, — если вам так нравится друг от друга бегать — бегайте хоть всю ночь, я вам не помощник». Свернул простыню и пошёл в палату. Теперь мне совсем не страшно, потому что светит луна и звёзды. Я люблю звёзды. Это, наверное, потому, что нас, когда шла война, по ночам не бомбили и можно было выйти погулять. Я спал днём, а ночью дышал свежим воздухом. И если днём просыпался, то всё спрашивал: «Есть звёзды?»

Я поднялся на крыльцо нашего домика и споткнулся о ведро. Странно, когда уходили, никакого ведра не было. Кто это его поставил?

От луны светло в палате. Пошёл я к своей койке, смотрю, а на ней лежит кто-то. Батюшки, да ведь я в девчоночную палату зашёл! Скорей нужно мотать отсюда! Пошёл я к выходу на цыпочках, слышу — кто-то плачет. Тоненько, жалобно. Я остановился, послушал. Но могу я уйти, когда человек плачет.

— Эй! — шепчу. — Кто это плачет?

Затихло. Потом опять всхлипывать начало — на крайней койке. Я подошёл, присел на корточки около головы. Смотрю, а это наша Ирина-Мальвина разливается.

— Осипян, ты чего?

— Ой, кто это?

— Я. Хрусталёв. Я к вам в палату нечаянно зашёл. Ты чего ревёшь?

— Домой хочу! — всхлипывает Ирка. — Никак уснуть не могу.

— Это, — говорю, — потому, что у тебя тоска. Ты нервничаешь, вот и уснуть не можешь. Ты успокойся, а то от тоски даже заболеть можно.

— Как я могу успокоиться! Тут же темно.

— А ты подумай, как будет хорошо, когда домой вернёшься. Твоя мама пирог испечёт, я к вам в гости приду. Тоже чего-нибудь интересненькое приносу...

Ирина уже не плачет. Только всхлипывает и дрожит. Я её по голове погладил. Ну и что, что она плачет. Скучает, маленькая ещё. А слёзы, они ведь без спросу текут.

— Мне бабушка всегда на ночь сказки рассказывала...

— Ха! — говорю. — Да я тебе сказок хоть тыщу миллионов расскажу. Есть такие специальные сказки для девчонок про принцев и принцесс. Они в книжках записаны, а я знаю сказку, которая нигде не записана, потому что случилась с моим папой, когда он маленьким был. Это сказка про рябую курочку.

— Ой, я её знаю! — затараторила Ирка. — Жили-были дед и баба... была у них курочка Ряба.

— Не Ряба, а рябая курочка, вот именно, что это другая сказка.

— Ну, тогда рассказывай.

— Пошла хозяйка на рынок со своим сынишкой. Это моя бабушка с моим папой, когда он совсем маленький был. Смотрят, к одной телеге за ножку курочка привязана. Маленькая, взъерошенная. Её не то что били, а тащили за телегой без внимания. Мальчик говорит маме: «Давай купим курочку». А мама отвечает: «Да у нас же есть куры дома». А он говорит: «Мне эту жалко, её совсем замучают». — «Ну, раз жалко, — говорит мама, — давай купим».

Принесли они курочку домой, выпустили во двор. Во дворе гуси ходят, куры толстые, мясные, называются Арпенхтон, индюк весь напузырился, хохлом своим красным машет. Рябенькая курочка и так маленькая была, а тут вообще вся в комочек сжалась, совсем крошечная стала. Начали корм раздавать — все рябенькую курочку обижают, пришлось мальчику её отдельно кормить.

— А чего ж за неё петух не заступился? — спросила Ирка.

— А он дурак был. На заборе только сидел да кукарекал. Ему вообще на неё наплевать было. Вот курочка немножко окрепла и стала клохтать. А если курица клохтать начинает, значит, она хочет цыплят выводить. Взял мальчик лукошко, постелил туда соломки, мама ему яиц дала, поставили под крыльцо. А курочка вокруг бегаёт, кричит: «Мало, мало!» Пришлось ещё яиц подкладывать. Еле курочка смогла их все накрыть.

Села курочка на кладку и так сидела, что даже есть не вставала. Пришлось мальчику её кормить. Другие куры выскочат, по двору носятся, а кладка остывает. И вот прошло три недели и стали вылупляться цыплята. У одной курицы десять, заважничала она, пошла по двору. У другой двенадцать — ну та вообще!.. А рябенькая курочка всё не выходит из-под крыльца. У неё ещё не все вылупились. Вышла она под вечер, и все жители двора собрались считать, сколько же у неё цыплят — десять, пятнадцать, двадцать один!

— Ух ты! — сказала Ирка.

— Тут даже гуси гоготать перестали. Петух было к рябенькой курице сунулся, наверное, поздравить хотел, а она ему так сказала «ко-ко», что у него даже гребет, от расстройства на бок свесился, и поплёлся он в дальний угол двора. А цыплята скоро выросли, и уж никто не смел рябенькую курочку обижать. Вот.

— Хорошая сказка! — сказала Ирка.

— Конечно, хорошая! согласился я. — Утешительная. Мне её бабушка рассказывала, когда нашей соседке тёте Дуне муж посылку из Германии прислал. Там всякие халаты розовые, чтобы воображать. Несколько штук! И она стала в этих халатах по квартире ходить!

Вот мне бабушка и рассказала эту сказку! Потому что, когда я вырасту большой, я моей маме не то что халат розовый, а платье куплю с золотой каймой! Зеленое бархатное с золотой каймой, как у царицы! И все тогда увидят, что моя мама лучше всех! Ну, теперь спи давай!

Я собрался уходить.

— Ладно. Спокойной ночи, Боря.

— Спокойной! — говорю.

Вдруг дверь открывается и входит Алевтина Дмитриевна с лампой в руках.

— Это что такое? Хрусталёв? — Она чуть лампу не выронила.

Тут на всех кроватях стали девчонки вскакивать, такой крик подняли! Ирка

мечется, что-то им объяснить хочет, а они орут:

— Хулиган! Нахал! Специально нас напугать хотел! Вон простыню притащил! — в спину меня толкают.

— Я думала, твоё раскаяние искреннее, — говорит Алевтина Дмитриевна. — Я поверила тебе, а ты опять за своё! Завтра мы пойдём на прогулку, а ты останешься в лагере.

Тут все сразу замолчали. На крыльце ведро как грохнет. Дверь открывается, и входит Липский. И уж на что керосиновая лампа плохо светит, а видно, что он грязный с ног до головы.

— Вот! — говорит. — Нашёл сандалину. Сам чуть не утонул.

Глава шестая

АХТУНГ, АХТУНГ!

За завтраком манная каша мне в горло не лезла. Алевтина Дмитриевна ничего не говорила.

Ребят мы, конечно, не выдали, а когда нас с Липским привели в палату, они все уже лежали в кроватях и делали вид, что спят. Так что вышло, будто мы с Липским вдвоём решили девчонок пугать. Липа с утра пораньше канючить начал. Кашу не ест, по тарелке размазывает, всё прощения просит. А я и прощения просить не могу. Вчера просил.

Нет уж! Как сказал дядя Толя: умел кот сметану съесть — умей, кот, и трёпку снести!

Пошёл я после завтрака к пруду, сел на пенёчек. Ребята шумят в палате, на прогулку собираются, а я один сижу.

Вот был бы жив мой папа — он бы во всём разобрался. Я представил, как он въезжает в ворота лагеря на коне, а за ним весь его эскадрон. И я бы побежал к нему изо всех сил. «Зачем вы его обижаете? — сказал бы папа, поднимая меня в седло. — Он же ни в чём не виноват». И мы бы гордо уехали.

— Боря! Боречка! — Оборачиваюсь: Ирина-Мальвина стоит. — Ты не волнуйся! На, скушай карамельку!

Я охнуть не успел, как она конфету мне в рот затолкнула.

— Я знаю, — тараторит она, — это вас Серёга Кирьянов подговорил. До чего дурак, я его терпеть ненавижу! Всё ко мне пристаёт: то за косы дёргает, то записочки рисует. Если Алевтина тебя на прогулку не возьмёт, я ничего не побоюсь и с тобой останусь! Скажу, что у меня живот заболел. Я тебя в обиду не дам. Я уже всё Алевтине рассказала...

— Что? — закричал я. — Уже наябедничала! Ну девчонки! Ну ябеды! Ты что, совсем, что ли?

Она сразу покраснела и говорит:

— Сам ты вообще... Вон ты какой! Ну ладно-ладно...

Пошла прочь, только бант на голове развязался и болтался, как спущенный флаг.

— Хрустя! — закричал, выбегая из палаты, Липский. — Ты где? Нас простили! Идём на прогулку. Красота! Чуть-чуть попросил — и сразу простили.

— Дурачок ты! — Я ему щелбана закатал. — Алевтине всё Мальвина рассказала.

— Ух ты! Ну и хорошо, — почесал лоб Липа. — Вот и хорошо! Мы не ябедали, а пионервожатая всё знает. Это по справедливости.

— По справедливости! — Меня даже смех разобрал. — Так только бы нам двоим попало, а так и им попадёт.

— А что, они не ходили пугать, что ли?

— А, разговаривать с тобой...

— Мальчики пойдут в парах с девочками, — сказала Алевтина Дмитриевна. Ирина-Мальвина прошла мимо меня, задрал нос.

— Пойдём, — говорит, — Кирьянов, с тобой в паре.

Серёга чуть в обморок не упал.

А мне-то что? Пусть с кем хочет ходит. Я пошёл в паре с Анькой Тищенко. Она маленькая и глупая совсем: привезла в лагерь куклу! Пеленает её, разговаривает. Учится со мной в одном классе, а в куклы играет. С ней и в паре не пойдёшь — куклу несёт. Так что иду я как будто один. Ну ничего, мог вообще в лагере остаться.

За воротами мы свернули на другую дорогу, не на ту, по которой вчера с дядей Толей молоко везли. Здесь леса не было, а всё шли поля. Алевтина Дмитриевна объясняла, где овёс, где рожь растёт.

За полем голубела речка. И мы пошли вдоль неё по крутому берегу. За рекой стоял густой бор. Над ним плыли белые облака. И такой простор был кругом, что мы стали петь про Катюшу.

И вдруг нам стала подыгрывать губная гармошка. Она играла где-то внизу, под берегом. Мы обрадовались, запели громче и зашагали к краю обрыва.

На краю, на самом обрыве, свесив ноги, сидел солдат с автоматом на коленях. А внизу строили мост. Только строители, наверно, сейчас обедали. Они замахали нам руками, а один высокий играл на гармошке и притоптывал. У них на головах были какие-то странные фуражки, словно на колпак пришили козырёк и длинные уши, которые болтались, как у собак.

— Фрицы! — сказал Серёга.

Мы сразу остановились и замолчали.

А тот с губной гармошкой приплясывал и выкрикивал нам:

— Петь! Киндер, петь! Карашо!

— Это фашисты! Фашисты! — взволнованно говорил Серёга.

Я всегда знал, что фашисты — это враги, но они мне представлялись совсем другими, мало похожими на людей. У них должны были быть автоматы и руки в крови по локоть. Так их рисовали на плакатах... А это были совсем обыкновенные рослые мужчины. Если бы не эти вислоухие картузы и длинные зелёные шинели, их можно было бы принять за русских. Они поднялись, махали нам руками и приплясывали под гармошку.

«Это они убили моего папу! Это они убили дедушку и дядю! Это они сожгли деревню! Из-за них у моей мамы нет пальто!» Я стал повторять это про себя, чтобы не поверить ни их широким улыбкам, ни весёлой русской музыке, которую играла их гармошка. «Это они убили двух сыновей и мужа у тёти Паши. Отца, деда и бабушку у Липского, сына дяди Толи». Рука моя сама собой подняла ком глины, и я кинул его в музыканта.

— Эй! Эй! — закричал часовой. — Не положено!

Но мы ничего не слушали. Мальчишки хватали камни и глину и кидали в ненавистные зелёные фигуры. Солдат пытался схватить нас за руки, пионервожатая кричала на нас, прибежал ещё один солдат, маленький и раскосый. Он схватил меня в охапку.

— Зачем кидал? — кричал он. — Зачем камень кидал? Совсем нехороший! Палахой совсем мальчик!

— Фашистов охраняешь! — пыхтел я, вырываясь. — Предатель!

— Какой-такой предатель? — кричал солдат. — Фашисты — нет! Фашиста был на войне! И здесь военноплен. Кидать нельзя. Пленный обижать нельзя!

Он был совсем маленький, этот солдат. Чуть побольше Федула. Он всё пытался объяснить нам. Хватал нас за руки, но делал это так осторожно, словно боялся нас сломать.

— Дети! — закричала Алевтина. — Это стыдно!

Она крикнула это так, что мы сразу остановились.

— Это стыдно, — повторила она. — Вы позорите нашу Советскую страну. Это фашисты могли издеваться над пленными, а мы не фашисты. Мы пленных не трогаем!

— Ага! Ага! — закивал солдат.

— А ты, Хрусталёв, — сказала она мне, — ты просто какой-то злостный нарушитель. Вовсех дурных начинаниях ты первый. Это поразительно!

Немцы сгрудились кучей. Один из них, пожилой, криво усмехнулся и что-то сказал, кивнув в нашу сторону. И тогда тот, что играл на гармошке, закричал на него, затопал ногами:

— Швайн! Швайн-фашистен! — Он даже побелел весь. Другие немцы схватили его, а он всё вырывался, чтобы броситься на пожилого. Шинель у него распахнулась, шапка свалилась, и он топтал её ногами.

— Ну! — сказал часовой с автоматом. — Обрато завелись. Каждый день у них эта канитель! А ещё, не дай бог, агитатор приедет, дак они после его речей вообще друг другу глотки рвут... Ахтунг! Ахтунг! — закричал он. — Арбайтен! Кончай обедать! Сладу с вами нет!

Пленные пошли к недостроенному мосту. А тот, что рвался в драку, остался один. Он поднял с земли картуз, выколотил его об колено.

— Дети! Постройтесь! — Алевтина захлопала в ладоши. — А ты, Хрусталёв, пойдёшь со мной. — И она крепко взяла меня за руку.

— Воспитательнис... — сказал маленький солдат. — Ходи другая место. Издесе не нада. Другой место гулай.

— Конечно, — кивнула пионервожатая.

Мы пошли обратно. Я оглянулся. Немец всё ещё стоял. Он держал в руках свою нелепую шапку, и ветер шевелил полы его длинной распахнутой шинели.

Он встретился со мной глазами и сделал движение, словно хотел помахать мне рукой, но на полпути передумал. Я хотел погрозить ему кулаком, но было в его лице что-то такое, что я почему-то не погрозил.

Глава седьмая

К ОРУЖИЮ, ГРАЖДАНЕ!

— Дядя Толя! Дядя Толя! Немцы через речку мост строят! — Я вбежал во двор кухни.

— Тихо! — схватила меня тётя Паша. — Тихо! Что ты расшумелся? Строят — не воюют! Иди отсюда с богом! Не до тебя сегодня дяде Толе. Видишь, к нему моряк приехал. Сын Толин у этого моряка на руках умер. Иди, иди, милый! — Она сунула мне в руки капустную кочерыжку и вытолкнула со двора.

Я оглянулся. Дядя Толя сидел с каким-то моряком за столом. Судомойка подавала им дымящуюся картошку в миске. Голова старика была низко опущена, он что-то машинально перебирал на столе. Рядом с широкоплечим моряком на скамейке лежал свёрток; бумага разорвалась, и я увидел голубые полоски тельняшки.

Весь тихий час мы шептались о пленных.

— Это же с ума сойти! — говорил Серёга. — Видел, какой там часовой? Он на них и не смотрит.

— Он на солнышке дремлет, — подзуживал Липский.

— Они в любую секунду сорваться могут! Разве можно так фашистов сторожить?

— Никуда они не сорвутся, — сказал Осташевский. — Ну, а сорвутся, куда пойдут?

— В леса! Будут, как партизаны...

— Партизаны только у нас бывают, — наставительно сказал Липский. — Они пойдут в бандиты.

— Чего они сделают без оружия? — упирался Колька.

— Да тут оружия полно! — сказал Липский. — Только поищи.

— Братцы! — Серёга даже встал на кровати. — Точняк! Тут оружия навалом, а мы сидим, ушами хлопаем! Нас же голыми руками всех перебить могут. Придут ночью — палаты зажгут, взрослых перевешают, всех наших девчонок передуют!

У меня даже мурашки по спине поползли. Я представил, как полыхают дома. Как наши девчонки зовут на помощь, а мы ничем помочь не можем. Потому что пленные — взрослые и любой с нами справится.

— Надо вооружаться! Наберём винтовок, автоматов...

— А мне гранату! — запищал Липский. — Пусть только сунутся, я гранатой тра-ах! Ба-ах!

— Тебе гранату и не взвести, — сказал Вася Бойцов. — Ты, Липа, гранату-то настоящую хоть раз в руках держал?

— А то нет?

— Конечно, нет. Держал бы — помалкивал! И вообще на войне всё для взрослых. Винтовка со штыком, например, выше меня.

— На войне, наверное, страшно, — сказал я.

Тут они все засмеялись.

— Конечно, если ты дрейфишь, так тебе страшно, — пропищал Липский.

Мне стало очень обидно, и я спросил:

— А ты где был, когда война была?

— Где все. В эвакуации.

— В эвакуации... — передразнил я его. — А я в городе оставался. Знаешь наш дом каменный четырёхэтажный, у Савинского бугра стоит? Мы в нём только вдвоём с бабушкой и оставались. Около нас зенитная батарея стояла... И противотанковая... А бомбили нас всё время! И арналёты! Как начнёт грохотать, мы не знаем, где и прятаться. То ли в щель бежать — она на бугре, — то ли в доме оставаться. От обстрела в доме прятались — его бугор прикрывал. А при бомбёжке в щели прятались...

— А сколько тебе лет тогда было? — спросил, прищурившись, Серёга.

— Как сколько? Три года.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Серёга, а за ним и Липа начал подхихикивать, и все ребята невольно заулыбались. — Три года! Да разве в три года можно что-нибудь запомнить? Это тебе рассказывали всё, вот тебе и кажется, что помнишь.

— Тебе рассказывали и нам рассказывали! — кричал Липа. — Так что разницы никакой, подумаешь, он «почти что на фронте был»!

От возмущения у меня даже голос сорвался.

— Помню! — закричал я. — Помню! Меня зенитчики американской тушённой кормили! В шинель заворачивали! Я взрывы помню! Они были длинные, то есть высокие, как деревья, и чёрные! Их было много — как лес!

— Ха-ха-ха! — закатывался Серёга. И ребята за ним посмеивались.

— Помню! — кричал я. — Помню! Мы один раз проснулись, потому что тихо стало. Не стреляют! И вроде как поют. Мы с бабушкой выскочили — батареи нет. Ночью ушла. Я на бугор полез... Бабушка не могла, она старенькая. Я на бугре стою. А за бугром дорога — и по ней солдаты наши идут! Много! Рота за ротой. И поют все! Я им рукой махал, и они мне махали! Я помню! Касками махали! Кричали что-то!

— Может, и помнит, — сказал Федул. — А может, ему кажется, что он помнит...

— Да врёт он всё! — заключил Липский. — Он же хилак, вот и хочет изо всех выделиться, как будто помнит. Он и в футбол-то играть не умеет...

Я поднялся с кровати. Оделся и пошёл вон из палаты.

Куда мне идти? У дяди Толи гость. С Ириной-Мальвиной я рассорился. А мальчишки мне не верят. В спину мне загудел горн: «Вставай, вставай — рубаху надевай!»

Я оглянулся. Как же это так получилось? Я уже на дороге и уже разулся, чтобы речку вброд перейти. Вот я куда иду — в конюшню! К лошадям иду. Потому что я всё время думаю о них. Они большие, они добрые, они так пахнут! Я хоть одним глазком на них погляжу — и обратно...

Конюх не удивился моему приходу, и уже через несколько минут я носил тяжёлое ведро от колодца в конюшню. Лошади косили на меня фиолетовые глаза, нюхали воду и осторожно трогали её мягкими губами.

И таким покоем была полна конюшня, что все мои обиды улеглись сами собой. «На что я обиделся? — думал я. — На то, что мальчишки не поверили мне. Так ведь действительно странно, что трёхлетний малыш всё запомнил. Липский сам хилак, слабее всех, он завидует, что я настоящую войну видел, а он только в книжках про неё читал».

— Ну, спасибо, — сказал дядя Коля. — Ступай к себе, а то небось ищут тебя уже.

Я бежал вприпрыжку обратно. Через поле, через лес. Время от времени нюхал свои ладони, потому что они пахли конём, и от этого запаха мне становилось весело на душе. Меня даже не огорчило, что Алевтина Дмитриевна полчаса ругала меня за самовольную отлучку и что ребята гоняли в футбол, а мне как всегда не нашлось пары — и пришлось быть запасным.

Я был около коней, и мне казалось, что я знал что-то такое, что другим людям неизвестно.

— Хрустя! — сказал Серёга, когда мы улеглись на ночь и пионервожатая погасила свет. — Ты на нас не сердись, может, ты и правда помнишь. Может, у тебя такая память.

— Гений в трусиках! — сказал Липский, но Федул ткнул его в темноте кулаком, и он замолчал.

— У нас к тебе дело есть. Ты тут всё знаешь вокруг лагеря.

— Да ну, я только в село дорогу знаю...

— Всё равно, — сказал Серёга, — а мы вообще только на прогулку выходили. Ты видел, где сапёры работают?

— Да. Дядя Толя говорил где.

— Ну вот, айда завтра на разведку!

— Ладно, — сказал я. — Когда немцы под боком, оружие не помешает.

Я представил, как вхожу в лагерь, весь обмотанный пулемётными лентами, с автоматом на груди. Вот Ирина-Мальвина ахнет!

— Тут мне парень из второго отряда показывал штык немецкий и две гильзы от снарядов. Это в лагере нашли! Можешь себе представить, что можно найти, где разминируют!

— Хорошо бы пулемёт принести, — сказал мечтательно Федул. — Поставили бы в столовой на крыше, и чуть что — сразу «та-та-та»!

— Да нам пулемёт и не сдвинуть. Он тяжеленный!

— Дурачок ты! У него же колёса...

Мы долго ещё говорили об автоматах, пушках, танках.

Глава восьмая

РАЗВЕ ТЫ СОЛДАТ?

После завтрака я сунулся было на кухонный двор и с удивлением увидел, что дрова ожесточённо колот тётя Паша.

— Будь ты трижды проклято! — приговаривала она, вытягивая завязнувший топор из чурбана.

— А где дядя Толя?

— Заболел.

— Как заболел? Где он? Я его навещу.

— Иди, иди с богом. Нельзя его навестить. Иди, иди отсюда.

— Борька! Хрустя! — кричал Серёга. — Борька! Куда ты делся? Ты что, забыл? Собрались идти, а ты сбежал куда-то!

— Всё в порядке! — сказал Федул. — Алевтина думает, что вы полочки к выставке выпиливаете. Часа три не хватит. До обеда успеете?

— Постараемся.

Мы пошли к забору, где ещё с ночи была выломана доска.

— Интересненько! — услышали мы за спиной. — Ладно-ладно! Всё-всё будет сказано.

Мальвина! Она стояла на крыльце своей палаты и готовилась позвать пионервожатую. Я погрозил ей кулаком.

— Сорваться хотите? Забор сломали! Всё-всё будет сказано.

— Осипян! — сказал я. — Иди сюда.

— Не бойся, Ира! — прошептал Серёга. — Он драться не будет.

— Ну? — Она подошла к нам вразвалочку. Но чувствовалось, что умирает от любопытства.

— Человек ты или кто?

— Да ладно тебе, — остановил меня Серёга. — Дай честное октябрятское, что никому не скажешь...

— Вот ещё!

— Ты немцев видела? — спросил Серёга. — Так вот, мы за оружием идём. Нас защищать!

Ирка даже побледнела.

— А где это оружие? — прошептала она.

— На бывшем переднем крае, на минных полях, — гордо сказал Серёга.

— Не ходите! Не ходите! — запричитала Ирка. — Вы же подорваться можете. — Ирка схватила меня за рукав. — Боречка, не ходи!

— Пусти ты меня!

— Ира! — сказал Серёга значительно. — Понимаешь: надо!

И она сразу как-то обмякла и ссутулилась.

— Вот, вот, — она вытащила из кармашка мятую карамельку, — вот съешьте. У меня только одна осталась.

Мы пожали ей руку и нырнули в заборную щель.

— Не! — говорил всю дорогу Серёга. — Она не выдаст! Она хорошая.

— Под ноги смотри! И помалкивай! — оборвал я его. — Тут, я видел, где-то проволочные загорождения есть.

Лес, через который мы шли, был весь переломан, почти все деревья были без верхушек, по измочаленным стволам текла смола, торчали обгорелые, вывернутые с корнем пни. Ближе к опушке стали попадаться спирали колючей проволоки, рогатки и бетонные пирамиды надолб. И тут мы увидели плакат: «Запретная зона. Мины!».

— Вот он, передний край! — прошептал Серёга.

Мы ступали осторожно, говорили шёпотом, словно боялись, что из обвалившейся траншеи или из развороченного блиндажа глянет на нас пустыми глазами полустлевший мертвец.

За лесом было поле, и на нём копошились люди. Мы залегли на опушке и стали смотреть, что они делают. Это были сапёры. Их было несколько. Они шли далеко друг от друга, вода по траве миноискателями, словно ощупывали землю. Иногда останавливались и ставили флажки, а иногда снимали наушники и, отложив в сторону щуп, ложились на землю и начинали копать сапёрными лопатками.

— Разминируют, — сказал Серёга.

— Без тебя вижу.

— Надо поискать, где они найденное оружие складывают.

И вдруг словно клещи сдавили моё ухо, и неведомая сила подняла меня вверх. Краем глаза я увидел плащ-палатку и сапоги.

— Так! — сказал над нами голос. — Ещё двое! Это что же делается? Товарищ гвардии майор! Что они там в лагере, спят, что ли? Вчера двое! Позавчера четверо!

Огромный пожилой солдат вытащил нас на полянку, где сидел тот самый майор, что грозился повыдергать ноги и вставить в уши.

— Вот снять бы с них штаны да всыпать, как меня отец в детстве учил! — говорил солдат.

Отставить! — сказал майор. — Отпусти им уши. Оторвёшь. У тебя вон ручища-то! Как лопата у бульдозера. Ну, голуби, зачем пожаловали?

— Гуляли, заблудились... — забормотал Серёга заранее приготовленную легенду.

— А лет вам сколько?

— Восемь, — сказал я. Голова у меня, словно налитая свинцом, не желала подниматься.

— В школу, значит, ходите? Читать умеете? Или, может, вы близорукие? Плакат видели?

— Нет! Какой плакат? — сказал Серёга, делая невинные глаза.

— Может, ветром сорвало? — беспокойно спросил солдат.

— На месте плакат! — сказал майор. — Никуда его не сорвало. Так или нет? — наклонился он ко мне.

— Так... — прошептал я, потому что не мог я врать этому майору. Если бы он на меня кричал или ругался, а он расспрашивал усталым голосом.

Он сидел на полянке, на пеньке, босой, измазанные глиной сапоги валялись в траве. Майор поглаживал руками колени, и я не мог оторвать глаз от его рук. Они были огромные, жилистые, с крупными ногтями, такие бывают у людей, которые много и тяжело работают. Обшлага кителя и галифе у майора все были в глине. Это оттого, что он стоял на коленях, когда выкапывал мины руками.

— Эх! — вздохнул майор. — Ну что мне с ними делать? Надо в лагерь вести к начальству. Пусть там разбираются. За пистолетами, что ли, шли? А? Кавалеры? В войну поиграть?

Мы отрицательно замотали головами.

— А зачем?

— Тут немцы близко. На всякий случай.

Офицер вдруг тоненько засмеялся. Он смеялся всё громче и громче, с повизгиванием.

— Гриша! — закричал он. — Пчёлко!

— Здесь!

Из кустов вышел ещё один солдат.

— Ты обед на мост понесёшь, прихвати вот этих ополченцев. Отряд самообороны. Сдай их начальству в лагерь. А ты, Иваныч, — сказал он пожилому, — поди глянь, как там ребята кошечки кладут.

— Есть, — ответил Иваныч. — А всё ж выдрать следовало...

— Это устарелая педагогика.

— Зато сразу в чувство приводит.

— Не ворчи.

— Я не ворчу.

— Вот и не ворчи.

Они всё ещё переругивались беззлобно, когда Пчёлко надел на плечо термос, другой взял в руки, а нам приказал нести большой мешок.

Боже мой, разве это был солдат? Во-первых, он был такой маленький, такой конопатый и такой белобрысый, что вполне мог сойти за пионера. Во-вторых, на нём был такой замасленный и грязный комбинезон, что казался клеёнчатым и блестел на солнце. Даже погон у него не было, и только белая выгоревшая и захватанная масляными пальцами пилотка говорила, что это всё-таки солдат, а не трубочист. Кроме того, он шмыгал носом, и когда заговорил, то голос у него оказался тонким и хрипатым.

— Звидкиля, хлопци?

— Чего? — не поняли мы.

— З якого ви міста?

— Как это — с какого места? Нас по местам не распределяют.

— Та ни... Вы з городу чи з сѣла?

— А! В городе живѐм, в городе.

— А кажи мѣни, будь ласка, билий хлиб в мисте маете?

— Чего он так разговаривает? А? — спросил меня Серѣга. — Он чего, специально, что ли, над нами издевается?

— Та ни, — улыбнулся солдат. — В мене мова така. Украинська. Ну то як, паляницю маете?

— Какая такая поленница? Зачем её маять? Мучить, что ли? — не понимали мы.

— Может, он спрашивает, есть ли в городе белый хлеб?

— Так, так! — обрадовался солдат.

— Есть. Есть белый хлеб, есть. Батоны.

— Ой-ѣй... — вздохнул он. — Скильки ж я рокив не йив цього хлиба. Ище до войны мамо с мѣдом паляницю робылы...

— Мать его вроде этой поленницей кормила, с мѣдом.

— А ваша мама на Украине? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Нема матуси. И батька нема. Немец згубив.

Мешок оттянул нам руки. Солдат шагал ровно и широко, мы за ним никак не поспевали. Если бы не этот мешок, мы давно бы дали стрекача. Вот мы и бежали вприскок за этим промасленным солдатом, и мешок бил нас по ногам.

— Хрустя! — сказал Серѣга. — Да мы никак к мосту идѐм?

Точно. Вот и поворот, и вот уж немцы машут руками и бегут к нам навстречу.

— Гут! Гут! Гришке, Гришке... Карашо! Обьод!

— Мамочка моя! — ахнул Серѣга. — Да ведь мы немцам обед принесли.

Мы в ярости швырнули мешок на землю.

— Не надо так. Це хлиб, — сказал солдат. Он передал термосы уже знакомому нам раскосому сержанту, и тот стал разливать щи в подставленные миски.

— Гришке! Гришке! — кричали немцы. — Кушать! Кушать! Киндер кушать брод! — Они приглашали нас пообедать вместе с ними. Я готов был кричать от злости.

— Куда ты нас завѣл! — закричал Серѣга на солдата. — Лучше бы выпороли, чем немцам обед нести! Что мы в лагере-то скажем?

— То был приказ! — сурово сказал Гриша.

— Гриша, садись с нами, — чисто по-русски выговорил пожилой немец. Я раньше его не приметил. Он был в советской военной форме, только без погон. Пустой рукав был аккуратно заправлен за ремень гимнастѣрки.

— Ни! — сказал Гриша, упрямо наклонив голову. — Не хочу. И не треба мени проситы, товарищу Кляйст. Не треба.

— Понимаю! Я понимаю, — вздохнул немец. — Понимаю. — И пошёл к немцам, которые устроились на брёвнах и дружно уплетали еду. Он вытащил из-за голенища сапога газету и, ловко развернув её одной рукой, начал громко читать что-то по-немецки.

— Газетки почитывает! — зло сказал Серёга.

— Це не пленный, це агитатор. Коммунист. Товарищ Кляйст. Пидем до лагеря, а то мени працюваты треба, — сказал Гриша.

Мы пошли, а вслед нам неслись чужие непонятные слова:

— Дойче зольдатен! Фатерлянд! Демократишен републик!

— Эхты! — сказал Серёга. — Они у тебя родителей убили, а ты им еду носишь!

— Це приказ! — глухо и упрямо ответил солдат.

Глава девятая

«ВЛЮБИЛСЯ! ВЛЮБИЛСЯ!»

— Кирьянов! Хру-ста-лев! — услышали мы крик, когда подошли к лагерю. Наш отряд, выстроившись, кричал по склада м.

— Ну теперь будет! — сказал Серёга. — Уже хватились нас.

— Бегить незаметно! — толкнул нас Гриша. — Бегить, бегить...

Вдруг он замолчал. И выпрямился так, будто увидел чудо. По дорожке к нам шла Алевтина Дмитриевна.

— Кто это? — выдохнул солдат.

— Алевтина. Сейчас нам будет...

— Где вы ходите? закричала Алевтина. — Весь отряд нас ждёт. Мы идём на прополку помогать колхозникам, а вы где-то бродите.

— А мы дяденьке дорогу показывали, — невинным голосом сказал Серёга. — Ему на кухню нужно.

— Кухня вон за той палатой, — махнула рукой Алевтина.

— Ага, — растерянно сказал солдат.

— Можно, мы покажем?

— Нет уж! Вы сами найдёте дорогу?

— Знайдем, — пробормотал Гриша. — Спасибо.

Он широко раскрытыми глазами смотрел на Алевтину. И когда она повела нас строиться, он всё ещё стоял на дороге.

— Стоит! — сказал Серёга. — Он, наверное, в вас влюбился.

И Серёга захохотал, поражая меня своей наглостью.

— Не болтай глупости! — пробормотала Алевтина, но густо покраснела.

— Влюбился! Влюбился! — хохотал Серёга, как будто Алевтина была в этом виновата.

«Неужели в самом деле влюбился?» Я посмотрел на Алевтину и словно увидел её впервые. Она красивая! У неё такие длинные густые косы. Почему бы в неё не влюбиться? Но Серёга хохотал так, словно узнал что-то стыдное, о чём нельзя говорить при всех. Он не мог успокоиться и в палате, и на поле, где мы выдёргивали сорняки с капустных грядок.

— Влюбился! — ликовал он. — А сам говорит как — ничего не поймёшь. Поленицу ему мать пекла. Как будто он дрова ел! Грязнуля! Масло с него чуть не капает машинное. Как будто не человек, а трактор. Даже погон нету!

— Чья бы корова мычала, — заметил Федул, — а твоя бы, Серя, молчала!

— Ты это про что?

— А то! Все знают, что ты за Осипян бегаешь.

— Это кто бегают?

— Ты! — встрял Липский и спрятался за широкую спину Федула.

— Подумаешь, влюбился! — сказал Бойцов. — Ну и что? Он солдат. Алевтина — студентка. И ничего смешного нет. Это когда ты, Серя, за Ирккой бегаешь, — так только смешно и да же противно.

— А вот почему так? — спросил Федул.

— Потому что детям всё запрещают, — объяснил Липский. — Взрослые — хитрые: им всё можно, а нам ничего нельзя.

— Нет, — сказал Бойцов, — мы просто, наверное, не знаем, что такое любовь, вот и воображаем всякую ерунду.

— Как это не знаем? — удивился Липский. — Если нам объяснить как следует, и мы поймём. Нет такого, чего понять нельзя. Серёга же не в Алевтину влюбился, а в Ирку. Солдат в пионервожатую, потому что они взрослые, а он в девчонку, потому что ему ещё лет мало.

— А по-моему, — сказал Бойцов, — мы вообще ещё по-настоящему влюбиться не можем.

— Как это так? — возмутился Липский. — Что же мы, не человеки, то есть не люди, что ли?

— Люди. Только вот взрослые — они не такие, как мы. Они — другие.

— Такие же! Только крупнее. Выросли — вот и всё.

— Нет! — стоял на своём Бойцов. — Они совсем другие. Поэтому они могут чего-то такое знать, чего мы не знаем и не чувствуем.

— Точно Боец говорит! — решил я. — Вот дяденьки взрослые бредутся, например, а нам не нужно. Они, может, и любовь понимают, а у нас ещё этого понятия нет... Вот мы играем в войну или пожар, ведь всё понарошку, а у взрослых всё по-настоящему...

— А за тобой Ирочка бегаёт! — вылез Липский.

Но я ему не отвечал, таскал и таскал сорняки. И выполол больше всех! И меня похвалили на линейке после тихого часа. Я хотел пойти к дяде Толе, но на кухонном дворе никого не оказалось, только ветерок раздувал опилки под козлами. Второй день нету дяди Толи! Я сунулся на кухню. Там полыхала огромная печь, трещали дрова, шипели большущие кастрюли.

— Тётя Паша! — закричал я, потому что мне не было видно, что делается по ту сторону плиты.

— А-я! — отозвалась она. — Кто это меня кличет?

— Тётя Паша, а где дядя Толя?

— Хвораёт дружок-то твой.

— А что с ним?

— Известно что! — Тётя Паша утёрла красное, потное лицо фартуком. — Моряк-то тот ему порассказал всяких ужасов... Ну, а потом сердечный приступ. Еле отходили.

— А где он теперь?

— Известно где. У Коли, у приятеля своего, при конюшне в сарайчике лежит.

— Я пойду к нему!

— Сходи, милай, сходи. Попроведай. Я бы и сама с тобой пошла, да сил моих нету, ведь вся Толина работа теперь на мне. Вот только растопила на ужин, а там ещё заправлять надо... погоди, я тебе гостинца дам. Нехорошо без гостинца. Хотела с Колей передать, он теперь молоко возит, да вот что-то нет его... — приговаривала тётя Паша, собирая в узелок пирожки, кусочек сала, несколько яблок. — Ты у вожатой спросись, а то она уж на тебя жалилась. Говорит, никакой управы на тебя нет — убегаешь. Ты спросись!

«Спросись, — думал я, принимая узелок с передачей. — Хорошо, если отпустит, а ну как не разрешит? Отнимет узелок, и всё!» Я представил дядю Толю в тёмном сарае на соломе, а рядом никого нет! И попить ему подать некому. Нет, нельзя рисковать.

Около ворот прогуливались вожатые, зорко поглядывая, не пытается ли кто ускользнуть с территории лагеря.

Дурачки! Кто же в ворота пойдёт? И я полез в щель под забором. Немножко, правда, крапивой обстрекался, но ничего, отряхнулся и побежал в деревню.

— Здрассти! — поклонился я Коле-мордвину, который сидел на завалинке и чинил хомут. — Дядя Толя у вас лежит?

— Доброго здоровьичка! Да ты никак с гостинцем? — кивнул он на узелок. — По всем, значит, правилам посещальщик... У меня твой приятель, у меня. Счас пойду гляну: не спит ли?

Конюх с усилием втыкал шило в кожу хомута и ловко двумя нитками подшивал войлок.

— Не сплю я! — раздался голос из пристройки. — Кто это?

— Это я, Боря, — просунул я голову в дверь.

— А! — обрадовался старик, поднимаясь с постели.

— Вам тётя Паша гостинца посылает, — сказал я, рассматривая комнату. Это была прекрасная комната! На бревенчатых стенах висела упряжь: гужи, вожжи, хомуты и ещё всякие замечательные вещи, названия которым я ещё не успел узнать. Пахло кожей, дёгтем, лошадьми.

Дядя Толя лежал на высокой постели, покрытой попоной, а вместо подушки у него было настоящее седло.

— Ах, Боря, Боря! Не видать бы тебе горя! Ах ты мой желанный! — приговаривал дядя Толя, разжигая примус и наливая ковшиком из ведра воду в чайник.

— Ну, рассказывай, как там у вас дела. Чего нового?

Что я мог ему рассказать? Как мы за оружием ходили?

— Дядя Толя! — вдруг сказал я. — Только вы не смейтесь: а что такое любовь?

— Ишь ты! А что ж это ты озаботился? — Он даже сел от удивления и хлопнул себя ладонями по коленям. — Ну вот, к примеру, ты маму свою любишь — вот тебе и любовь.

— Нет, — сказал я. — Это что! Я же моей маме сын. Как же я могу её не любить?

— Бывает, — вздохнул дядя Толя.

— Всё равно, я не про то. А вот встречаются люди, раз — и вдруг влюбились. Это как? Я вот, например, ни в кого не влюбился ещё, а Серёга, например, влюбился...

— Это какой Серёга?

— Ну, из нашего отряда.

— А... Он, брат, тоже не влюбился. Это так, баловство одно...

— Так что же, мальчишка с девчонкой и дружить не может?

— Дружить, — сказал дядя Толя, — это хорошо. А влюбиться — это совсем другое.

— Вот я и спрашиваю: что это такое?

— Вот, братец, ты мой, как пристал. Ну, ладно. Я тебе расскажу. Примерно. Вот послал дед внука посмотреть, вскипел ли чайник. Ну вот, как я тебя. А внук говорит: «Дедушка, я никогда не видел, как вода кипит, как я узнаю, кипит или нет?» А дед отвечает: «Открой крышку и смотри. Когда закипит, ты это ни с чем не спутаешь!» Вот и любовь так-то: придёт — ни с чем не спутаешь. А до того голову себе не морочь. Давай чай пить.

Я разливал кипяток из тяжёлого чайника в кружки, дядя Толя всё подкладывал мне то пирожок, то кусочек сахара, так что, когда я опомнился, оказалось, что все гостинцы я сам и съел.

— Дядя Толя! — Я чуть не заплакал. — Как же так! Вы мне всё подкладывали, подкладывали, я всё и съел, а вам ничего не оставил. Как же вы выздоровеете?

— А мне эти яблоки и сахар вредные! У меня от них ревматизм начинается. Мне доктор сказал: «Самое полезное смотреть, как дети кушают». Мне сразу полегчало.

— Да что вы такое говорите?..

— Можно к вам? — Заскрипела дверь, я так и обмер: на пороге стояла Алевтина.

Глава десятая

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

— Вот принесла вам кое-чего горяченького. — Алевтина стала доставать из кошёлки увязанные в полотенце кастрюли. — Вот первое. Второе. Компот.

Да что ты, Аленька! — слабо возражал дядя Толя. — Я сыт. Беспокойство такое тебе...

Алевтина взяла веник и стала быстро подметать в каморке.

— Ну-ка, подбери ноги! — сказала она мне, словно только что заметила. Что ты за парень такой! Ну погоди, у нас с тобой разговор будет особый.

— Да ты его не ругай! Мне с ним веселее. Он меня жалеет.

— А меня? — подбоченилась Алевтина. — Меня он жалеет? Меня из-за него скоро с работы снимут и из комсомола исключат. Ведь каждый день убегает! Просто бегун какой-то! И что ему в лагере не сидится? Территория большая, игротека богатая...

— Да он не специально. Он за делом уходит.

— Меня сегодня начальник лагеря вызывал. Оказывается, они с дружкой (надо ещё выяснить — с кем) на минные поля ходили! Так или не так?

— Так! — прошептал я.

— С кем ты был?

Голова моя опустилась, и уши запылали.

— Нет, — сказал дядя Толя. — Он не скажет. Его хоть железом калёным припекай — не скажет. Казак! — У дяди Толи в голосе вроде бы гордость звучала. — Ты лучше, Аленька, скажи ему по-хорошему: «Не ходи, Боря, опасно там». Он и не пойдёт. Так?

Я кивнул.

— Да что вы такое говорите! Сегодня опять командир сапёров приезжал. Из второго отряда пятеро сбежали за оружием. Начальник лагеря приказ отдал: за самовольные отлучки из лагеря исключать! Без всяких разговоров. С завтрашнего дня всех, кого вне лагерной территории заметят, сразу на линейку и с барабанным боем — домой!

— Да ведь он же не на поля минные бегают...

— Поправляйтесь, дядя Толя, — заторопился я. — Завтра опять приду, не скучайте!

— Я тебе приду! — закричала Алевтина.

— Видал! — засмеялся старик. — Не бросает, значит, меня!

— Вот. — Конюх носил на вилах сено. — Запас карман не трёт. Хорошо, прошлогоднее сенцо осталось, а то и постелить было бы нечего. Кобыла у меня жеребиться надумала.

— Жеребёнок будет?

— Должон.

Я заглянул в конюшню. Все кони были в поле, и только в дальнем деннике стояла старая лошадь и тяжело вздыхала.

— Вот послушай! — Мордвин взял лошадь за недоуздок и приложил мою голову к огромному её животу. — Вон у жеребёнка сердчишко бьётся. У матери-то сердце бух-бух, а у него тик-тик... Слышишь?

— А когда жеребёнок будет?

— А завтра, наверное, и будет. Вишь, она уже и воду не пьёт. Вся сосредоточилась. Это нам сегодня с ней трудов будет на всю ночь. Но мы с Рыжкой привычные. Нам ничего! Мы стерпим, — говорил он, оглаживая конягу. — Зато будет у нас жеребёночек! Ножки тоненьки, ушки востреньки... Терпи, старуха. Ничего.

И лошадь вздыхала понимающе и покорно.

— Хрусталёв!

— Алевтина Дмитриевна! — Восторг распирал меня. — Там у лошади жеребёнок будет! Кобыла жеребится!

— Фу! — сказала Алевтина. — Гадость какая.

А я всё думал, какой будет жеребёнок, и точно знал, что завтра всё равно сбегу.

Около палаты меня встретила Ирина-Мальвина.

— Боря, сказала она, — ты только не расстраивайся. На карамельку. Ты вот всё убегаешь, а тут на тебя «Молнию» выпускают.

— Кто выпускает?

— Мы, — вздохнула Ирина. — Я заголовок писала. Только ты не подумай! Я не знала, что это будет молния про тебя. Мне говорят: «Напиши заголовок». Я и написала. Я думала, это будет газета про то, как мы пололи... Липский ваши стихи, а Серёга карикатуру рисует. Я как узнала, что про тебя, «Нет, — говорю, — нет! У меня живот болит, я не могу...» Так что я только «Мол» написала, а «ния» уже Кирьянов дописывал.

— Так! А где они рисуют?

— В пионерской комнате. Да ты не волнуйся, Боря...

— Какое же не волнуйся! Это же к воскресенью повесят! А в воскресенье родители приедут! Как ты не понимаешь!

— Всё равно не волнуйся! Ну, подумаешь, вывесят! — Ирина бежала за мной вприпрыжку, едва поспевая. — А вдруг дождик пойдёт — и газета намокнет, и всё смоеет...

В пионерской комнате на полу был раскатан рулон бумаги, и Серёга, лёжа на животе, рисовал карикатуру.

— Так, — сказал я. — Рисуешь, значит?

— Ага, — ответил Серёга. — Да ты не волнуйся, я непохоже рисую. Знаешь, я вообще-то рисовать совсем не умею. Не волнуйся, тебя никто не узнает.

— Да? — Ирина разгорячилась, того гляди на Серёгу бросится. — А ты, Кирьянов, что, не убегал? Я всё про тебя знаю! Что же ты про себя ничего не нарисуешь?

— Мне только про Хрусталя велели, — пробурчал Серёга.

— Ты! Ты!.. — захлебнулась Ирина. — Ты предатель! Ты хуже предателя.

— Всё равно его никто не узнает. А на фамилию я кляксу поставлю, — гудел Серёга.

— Я думала, ты человек, а ты... — Ирина фыркнула в последний раз. — Пойдём. Боря! И не водись с ним никогда!

— Ой-ой-ой! — засмеялся в углу Липский. Я его и не заметил сначала. — Напугала! Сейчас умрём!

— А, это ты, писатель! — подскочила к нему Ирина. — Ну что, сочинил свои стихи?

— Не беспокойся, сочиню. Тоже мне заступница нашлась. Жених и невеста, тили-тили-тесто.

Трах! Ирина закатила Линскому затрещину.

— Ах, ты драться! — Липский схватил Ирину за косу. Ну уж этого я не мог стерпеть.

— Отпусти, говорю, — тритон несчастный!

Схватил его за ухо, а кулаком — по макушке, по макушке.

— Это что такое?! — На пороге стоял начальник лагеря. — Знакомая фигура! Хрусталёв, если не ошибаюсь? И Осипян. Нашла с кем дружить. Вот что. Хрусталёв! Должен тебя предупредить: ещё одно замечание, ещё одна самовольная отлучка — и я исключу тебя из лагеря. Понял? Марш в свой отряд! Осипян, останься. К тебе у меня дело есть.

Вышел я на улицу. Куда идти? Во всех отрядах шум. На волейбольной площадке игра идёт, под навесом старшие мальчики лодку делают, девчонки на огороде копаются, одному мне дела нет. Предал меня Серёга.

Может, он специально напросился рисовать, чтобы на меня было непохоже и на него самого карикатура не появилась? Моя мама, конечно, расстроится, когда увидит, что меня в газете протащили, но она со мной будет разговаривать, и я ей всё объясню, а Серёгин отец разговаривать не станет — он сразу за ремень.

Серёга парень неплохой, только кому охота порку получать. Вот он и крутится: и вашим и нашим... Самого бы Серёгиного отца выпороть! Хотя он и так один раз хвастал, что его в детстве отец порол как Сидорову козу. Интересно, что это за несчастная коза такая? «Отец меня порол как Сидорову козу и воспитал человека». Тоже мне человек! Разве это человек, который детей бьёт?

Я слонялся по территории лагеря и незаметно оказался около кухни. С кухонного двора раздавались звонкие удары топора. Кто же это дрова колет? Дядя Толя болен. Может, помочь надо? И я пошёл к деревянному сарайчику.

Глава одиннадцатая

НЕ ВСЕ НЕМЦЫ ФРИЦЫ

Во дворе я увидел рослого мужчину, без рубашки, который колот дрова. Он был худой, но мышцы на спине и на плечах были будь здоров какие! Гора наколотых поленьев возвышалась около него. Я подошёл ближе, чтобы помочь уложить дрова в поленницу, да так и ахнул.

Я узнал в нём того немца, что играл на гармошке! Он, наверное, тоже узнал меня. Мы стояли и смотрели друг на друга. Странное дело, мне не было страшно. Вот он, враг, стоит передо мной, стоит с топором в руках, а я не боюсь.

В глазах этого немца было какое-то просящее выражение. Он, взрослый, сильный мужчина, смотрел на меня, как провинившийся. Мне бы в голову не пришло сейчас кинуть в него камнем или сделать что-нибудь обидное и злое.

Из-за сарая выехала телега. Дядя Коля-мордвин привёз молоко.

— А вот принимайтесь, — сказал он, снимая с телеги бидоны и оставляя в мягкой почве двора круглые ямки от протеза. — Паша! Получи молоко.

— Ага, ага! — Из кухни вышла повариха с бумагами.

Немец опять принялся колот дрова, ловко и споро.

— Как там Рыжка? — спросил я.

— Кряхтит. Ничего. Завтра приходи жеребёнка смотреть. — Дядя Коля точно не замечал немца. Мы разговаривали так, словно были одни во дворе. Конюх подпрыгнул и снова сел в телегу. Закурил.

— А дядя Толя как себя чувствует?

— Ничего. Говорит, завтра гулять пойдёт.

— Пусть он не встаёт раньше времени, — сказала тётя Паша, вынося из кухни тарелку с гречневой кашей и большую кружку молока. Она поставила всё на стол и подошла к немцу.

— Эй! — тронула его за плечо. — Иди поешь.

— Данке, — торопливо ответил немец. Он вогнал топор в колоду. Аккуратно вымыл руки. Надел свой зелёный мундир, застегнул его на все пуговицы и стал около стола.

— Садись, — сказала повариха.

— Спасибо. Данке. — Немец сел. Взялся за ложку.

Я смотрел, как он аккуратно кусал хлеб ровными белыми зубами и, стараясь не крошить, ел рассыпчатую кашу.

— Чего ты на пленного уставился? — сказала мне тётя Паша сердито. — Ему из-за тебя кусок поперёк горла становится. Чего ты упулился в него? Фамилия-то у тебя какая? — спросила она немца как бы между прочим.

— Вас? Дас фамильен? — переспросил немец. — Айн мутер. — Он торопливо достал из нагрудного кармана фотографию пожилой женщины в шляпке.

— Мать, что ли? — спросила повариха, не прикасаясь к фото.

— Я, я! — закивал головой немец. — Мутер. Я не был мой дом съём год. — И он вздохнул. И, помолчав, опять принялся есть.

Я смотрел, как у него ходят желваки на худых скулах, и думал, что этот немец, наверное, скучает по дому, по своей матери. Шутка сказать, семь лет не был дома! Почти столько, сколько я живу на свете.

— Ты вот про мать, а я спрашиваю про фамилию про твою, чтобы знать, как называть-то тебя.

— Как его звать? Фриц! Как ещё! — вырвалось у меня.

Немец поперхнулся кашей.

— Найн, — сказал он, глядя мне в глаза. — Найн. Я не есть фриц. Меня зовут Александр Эйхель.

— А сестры и братья у тебя есть? — полюбопытствовала повариха.

— Найн.

— А женат? Жена, дети есть?

В лице немца что-то переломилось.

— Найн, — сказал он, опустив голову. — Найн. Бомба... — Он показал глазами на небо. — Бомба. Пух! Жена нет и двое дети.

— Ну конечно, где может быть Хрусталёв? Хрусталёв — на кухне! Мёдом тебе здесь намазано, что ли? — Алевтина Дмитриевна с этими словами вошла во двор и, увидев немца, тут же осеклась.

— Двое дети... — говорил немец, забыв про еду. — Один мальчик и один девочка... Три лет и пять лет.

Тётя Паша взяла его тарелку и скрылась на кухне.

— Я поражаюсь! — сказала Алевтина дяде Коле. — Она так спокойно говорит с фашистом. Да, может, он её сынов убил, а она с ним разговаривает!

Дядя Коля посмотрел на Алевтину, прищурясь от табачного дыма.

— Тебе сколь лет? — спросил он.

— Какое это имеет значение! — вспыхнула пионервожатая.

— Вот такое! Ты сначала роди двух сыновей, вырасти да получи на них похоронки, а опосля суди... Мала ещё судить!

— Так, может, он её сынов...

— А может, и нет! — резко оборвал дядя Коля. — Это они когда на нас силой пёрли, дак тогда разбирать было некогда: бей врага, и все дела! Чем больше, тем лучше. Все одинаковые — все враги. А теперь они все разные. Русский лежачего не бьёт! Эй, — сказал он немцу. — Как тебя, Александр, что ли?

— Я! — Немец поднялся.

— Да ты сиди! На каком фронте воевал?

— Найн! — замотал головой немец. — Яне на фронт. Я строител. Автобан. Дорога! Инженер.

— Видал! — сказал дядя Коля. — А звание какое?

— Гауптман... — потупясь ответил немец. — Капитан.

— Что вы мне хотите объяснить? Что он не виноват? — заговорила Алевтина. — Не

был на фронте? Дороги строил? По этим дорогам танки шли, между прочим, дороги строили русские пленные. А их потом тысячами расстреливали!

Немец побледнел, он хотел что-то сказать, но, наверное, слов ему не хватало, он только прижимал руки к груди и беспомощно переводил глаза то на конюха, то на пионервожатую.

— Вы их оправдываете! Они ваш дом сожгли. Половину жителей убили. Вас самого изувечили...

— «Оправдываю!» — усмехнулся конюх. — Ты, девонька, наговоришь!
«Оправдываю»... Чего было — не забыть, а только злобой много не наживёшь. Злоба злобу родит! Потому Россия и стоит, что мы в себе злобу задавить умеем. — Он загасил окурок. — Нынче бой окончен, теперь и разобраться можно, кто на нашу страну с мечом, как говорится, шёл, кого вели, кого гнали, а кто и не шёл... Ты видала у них агитатора? Вон безрукий-то. Всё им газетки читает. Так он руку-то ещё в Испании потерял. С тридцать восьмого года в подполье. Что в тюрьмах да в лагерях пересидел — это не перескажешь... Вот тебе и немец! Ведь у них не только Гитлер был, у них и Тельман был, и этот, как его, Карл Либкнехт... Не все немцы — Фрицы, этот, вот видишь, Александр...

— На! — сказала тётя Паша, ставя перед немцем ещё одну порцию каши. — Ешь. Наломался небось с топором-то, и где только научился? Инженер ведь!

Алевтина ещё спорила с дядей Колей. А я ушёл со двора и стал бродить вдоль лагерного забора, подальше от всех, потому что голова моя распухла от мыслей. В ней словно гудели, металась и сталкивались разные слова. «Немец — и вдруг Александр! Капитан — и вдруг строитель!»

Но самое странное: когда он заговорил о том, что у него погибла жена и дети, мне стало его жалко.

Глава двенадцатая

ДА ПУСТЬ ХОТЬ ЧТО ГОВОРЯТ!

Утром на линейке начальник лагеря, сердито блестя очками в тонкой оправе, сказал, что пионерский лагерь переходит как бы на военное положение.

— В связи с участвовавшими случаями нарушения дисциплины и режима, — голос у него был скрипучий и скучный, — организуются патрули из старших отрядов... Всякий, кто нарушит...

«Наверное, жеребёнок уже родился, — думал я. — Интересно, какой он? Чёрненький? Рыженький?» И ноги мои были готовы сорваться с места и припустить к конюшне. Иногда я ловил на себе тревожные взгляды Ирины-Мальвины.

— У нас уже есть злостные нарушители! — гудел начальник лагеря. — Ну-ка, пусть выйдут на всеобщее обозрение.

Он начал называть фамилии, и нарушители стали выходить из строя. Одни стояли опустив голову, другие, наоборот, улыбались и строили рожи.

— Хрусталёв!

Я шагнул вперёд. Всего неделю назад я точно так же стоял перед строем и умирал со стыда, а сейчас мне было совершенно не стыдно и даже смешно. На затылке у начальника лагеря торчал вихор, и ветер качал его, как травинку.

— Не было дня, когда бы он не нарушал дисциплину, — говорил начальник. — Ходил на минные поля! Ежедневно бегают в деревню за четыре километра!

И вдруг раздались аплодисменты. Я оглянулся — Ирина-Мальвина, вся красная от волнения, хлопала в ладоши. А за ней начали хлопать и другие ребята. Один из нарушителей, рыжий и конопатый, начал раскланиваться и приседать, как балерина.

— Прекратите балаган! — закричал начальник. — В общем, это последнее предупреждение. Все указанные лица — кандидаты на исключение из лагеря.

— Боря! — сказала Ирина после линейки. — Ну ты хоть один денёчек не убегай! Ты слышишь, что говорят, тебя могут из лагеря исключить!

— Да пусть хоть что говорят! Меня ещё и не поймают!

— Ой, что ты! Поймают! Все мальчишки из старших отрядов дежурят. Вон по двое вдоль забора ходят.

— Что я, дурак, через забор лезть?

— Всё равно убежишь?

— Убегу! А что мне тут делать? С Липой головастики ловить или в футбол гонять, чтобы Серёга мною командовал... А сегодня у Рыжки жеребёнок родиться должен.

— Ну, тогда я с тобой пойду, — решительно сказала Ирина. Я сначала хотел сказать, что, мол, только мне тебя не хватало. Но почему-то не сказал... Вообще, Ирина хорошая девчонка. Вот была бы она мальчишкой, так можно бы было с ней дружить.

— Ладно! — сказал я. — Только потом не жалуйся.

— Ты что! — Глаза у неё и так-то большущие, а теперь вообще как два блюдца сделались.

— Патрули расставили, — засмеялся я. — А мы с тобой пойдём через кухню.

— Да! — сказала Ирина со страхом. — Там немец!

— Да он какой-то ненастоящий. И зовут-то его Александр... Не бойся.

Мы бежали вприпрыжку. Миновали лес, перешли вброд речку — я вёл Ирину своим ежедневным маршрутом. Но на лугу, где у меня была протоптана тропинка в густой траве, мы вдруг увидели множество женщин.

Они шли широкой цепью, ритмично взмахивая косами, и трава ровными волнами ложилась позади них. Мне бросилось в глаза, что среди косарей не было ни одного мужчины, и я вспомнил слова дяди Толи: «Было в деревне девяносто три мужика, а с войны пришло двое: я да Коля одноногий». И сейчас же я вспомнил Александра, и снова в душе моей поднялось недоброе чувство: это из-за него, из-за таких, как он, женщины должны заниматься мужским трудом, делать работу, которая им непосильна. Я смотрел в измученные суровые лица колхозниц, на их низко надвинутые белые платки, на потные худые спины в ситцевых кофточках, и мне было мучительно оттого, что я не могу им помочь.

Эти женщины напомнили мне мою маму: когда она по ночам низко наклоняется над учебниками, у неё такое же напряжённое суровое лицо.

Мальчишки, ровесники нашим ребятам из второго отряда, крякая и надсаживаясь, подавали вилами траву на возы. Ещё один мальчишка, закусив губу, носился на конных граблях, а девчонки, чуть больше Ирины, деловито сгребали сено в копны.

— Вот! — сказала Ирина. — Они работают, а мы в лагере прохлаждаемся!

— Берегись! — прокричал мальчишка и пролетел мимо, звеня колёсами разбитых граблей.

— Пойдём быстрее, — потянула за рукав меня Ирина. — Нехорошо стоять и смотреть, как люди работают. Прямо мне вот именно что совестно.

От конюшни раздавались звонкие удары. Дядя Толя, присел на корточки, набивал обод на колесо.

— Дядя Толя, — сказал я, — что вы делаете? Вам же нельзя!

— Я маленечко, маленечко, я осторожно, — задыхаясь, отвечал старик. — Телега, вишь, без колёс стоит. Колёса развалились... А счас каждая телега на вес золота. Я счас, я маленечко.

Я помог ему катить колесо, вставил чеку, обильно намазал ось дёгтем, как показывал мне старик.

— Ну вот, ну вот... — приговаривал он, садясь на завалинку и дыша открытым, как у рыбы, ртом. — Ну, слава богу, сделали... Теперь можно катить хоть до Москвы.

— Боря! — прошептала Ирина мне на ухо (а я, признаться, забыл про неё). — Где же жеребёночек?

— А! Жеребёнок-то? Народился! Народился! — услышал её шёпот старик. — Подите — в последнем деннике с мамашей отдыхает.

Мы боязливо вошли в полумрак конюшни и прижали носы к щелям загородки. Рыжка звучно жевала сено, а в тёмном углу лежало какое-то существо.

— Вот он, — прошептала Ирина.

Комок вздрогнул и распрямылся, как пружина. Вороной жеребёнок поднялся на тоненьких соломинках-ножках и начал тыкаться лобастой головкой в бок матери — искать вымя.

— Какой хорошенький! — умилилась Ирина.

Рыжка насторожила уши и зло захрапела.

— Пойдём! — сказал я. — Не надо её волновать.

— Ага! — согласилась Ирина. — А то от волнения может молоко пропасть. Мама моя говорила, от волнения молоко пропадает. Только давай ещё посмотрим.

Мы ещё раз посмотрели на жеребёнка, который, причмокивая, тянул вымя и от удовольствия притоптывал копытцами.

— Ребятки! — позвал нас дядя Толя.

Мы вышли из конюшни, жмурясь от солнца.

— Вы того! — сказал старик. — Поспешайте-ка в лагерь, а то там вас хватиться могут. И сегодня и завтра, аж до воскресенья не ходите. Сапёры будут в карьер мины и бомбы вывозить.

— Какие бомбы?

— Да неразорвавшиеся, которые разрядить не удалось. Их в карьер вывезут и там взорвут. Вас в лагере, наверное, каждый час пересчитывать будут, так что вы бегите, а то могут вас хватиться.

— Что, устала? — спросил я Ирину, когда мы перешли брод и я заметил, что девочка стала отставать.

— Нет. Ни капельки. Только что мы никак не дойдём? Вроде, как в деревню шли, дорога короче была.

— Знаешь что, — сказала она немного погодя. — А ты ещё знаешь какую-нибудь сказку про настоящее, ну, как про рябую курочку?

— Конечно.

— Расскажи, мы и дойдём быстрее.

И она взяла меня за руку.

— Ну, слушай. Эта история случилась с папой на войне. Он нам её в письме написал. Было на фронте затишье. Немцы не наступали — выдохлись, а наши ещё сил не накопили. Сидели в окопах, друг против друга, перестреливались, а боёв больших не вели. У наших солдат в траншее жила ручная мышь Клара. Это была очень хорошая мышь. Уж неизвестно, кто её адрессировал, но только умела она стоять на задних лапках, брать корм из рук и кружиться, если вдруг начинала музыка играть. Ну, танцевала, в общем.

Солдаты её очень берегли. И чтобы ночью не наступить на Клару, устроили ей гнездо в каске, а каску ставили на бруствер, на край окопа, значит.

Однажды фашисты решили взять наших бойцов в плен. Подкрались незаметно. Спустились в окоп. Идут. А наши бойцы в блиндаже спали.

— А часовой? — спросила Ирина тревожно.

— А он не слышал.

— Заснул, что ли?

— Ты что — заснул! Боец на посту никогда не спит! Папа про часового не писал. Вот немцы крадутся по траншее. Один как поскользнулся и схватился рукой за край окопа. А там стояла каска с Кларой. Мышка выскочила да прямо ему за

шиворот. Тут фашист как заорёт! Наши бойцы выскочили из блиндажа. Из автоматов — та-та-та-та!.. Так Клара спасла наших бойцов.

— Хорошая сказка, — похвалила Ирина. — Только про курочку лучше. Я мышей боюсь...

А я вдруг подумал про того немца, которомумышь за шиворот упала. Он почему-то показался мне похожим на Александра. Закричал. Значит, тоже мышей боялся... Его из автомата — та-та-та-та... И он упал на дно окопа. Убитый. А может, у него дома дети остались? Мать? Вот что значит война.

— Нет! — сказал я. — Эта сказка не так кончается. Наши бойцы выскочили из блиндажа: «Руки вверх!» И все немцы сдались сразу, и наши взяли их в плен.

— Ой! — прошептала Ирина. — Кто это вон там стоит?

— Где?

— Да вон.

Мы уже были у самого нашего лагеря. Там играл баян и слышался голос Алевтины Дмитриевны:

— И раз, и два, и три...

Это девочки репетировали художественную гимнастику.

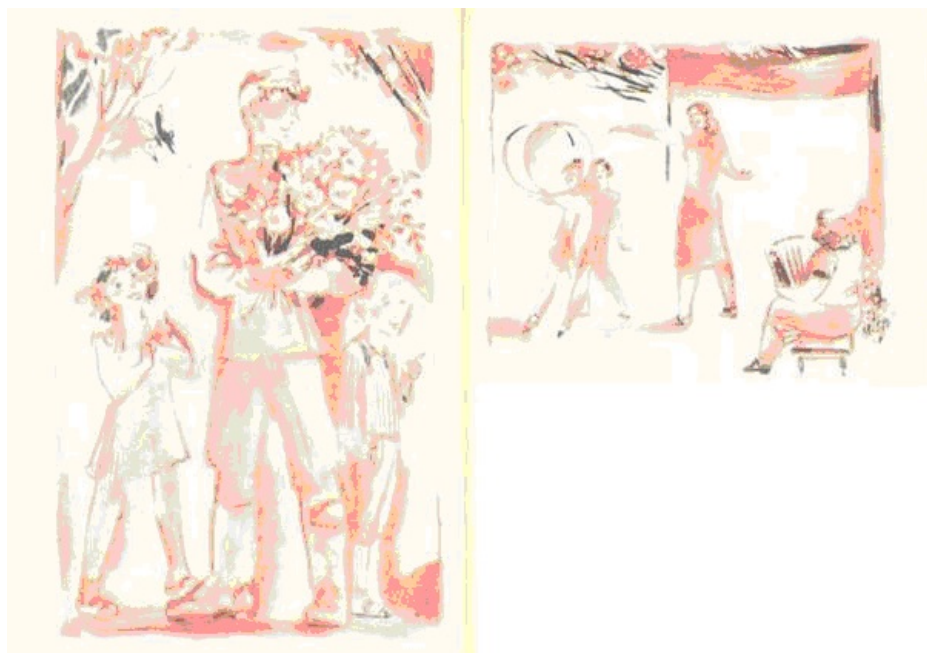
У самого забора спиною к нам стоял солдат. Я его узнал.

— Гриша! Пчёлко!

Он не услышал. Он смотрел туда, где шла репетиция, и улыбался задумчиво.

На нём была белая от стирки гимнастёрка, отглаженные бриджи, аккуратные обмотки и начищенные ботинки.

— Гриша! — тронул я его за гимнастёрку.



— Тю! — сказал он. — Та це мий знаемый. Добридень!

— Здрасти.

— А я задывивсь, як вони виробляють гимнастыку. Ой и гарна ж у вас учителька! — вздохнул он.

— Хочешь, я тебя познакомя?

— Ни! Ни! — замахал руками солдат. — Ни за що! Ты шо, сдурел? Вона учителька, а я хто?

— А ты солдат!

— От и оно, шо солдат. Кода б я был, наприклад, охвицер або сержант... а то тильки солдат. Хиба ж ей солдат ровня?

— Да у тебя ж вон сколько медалей! — Я их только что заметил и насчитал семь штук, да ещё два ордена Славы!

— Га! — солдат безнадёжно махнул рукой. — Стой, ось я тобі дам... — Он сунулся в куст и достал оттуда огромный букет белого махрового шиповника.

Ирина ахнула и всплеснула руками.

— Ось! Витдайте учительки. На пам'ять. От.

— Сам и отдай.

— Ни! Ни! — замахал он на меня руками так, что все медали на его груди зазвенели. — Не можно. Витдайте, будьте ласковы.

— Мне что, — сказал я, — я отдам. Может, чего передать?

— Кажи, есть один солдат... Та ни, ничего не треба передавати. Дякую! Спасибо! — И он побежал к дороге.

Букет был огромным. Ирина держала обеими руками охапку белых, опьяняюще пахнущих веток.

— Смотри не уколись!

— Да тут все шипы срезаны.

— Во! — хмыкнул я. — В Алевтину втрескался!

— Ну и что? — сказала Ирина. — И ничего смешного.

— Ты на него посмотри! Маленький вон какой. Некрасивый. Конопатый. Он же меньше Алевтины!

— Ну и что?

— Ну как же они поженятся, если он такой некрасивый?

— Ну и что? Зато он хороший. Вот именно что даже очень хороший... Цветы принёс.

— Да он и по-русски говорить-то не умеет.

— Он украинец, вот и говорит по-украински. У меня бабушка, не баба Настя, а которая в Армении живёт, она вообще по-русски говорить не умеет, так что же она, плохая, что ли?

— То бабушка! А то солдат! Вообще-то, — нашёл я выход, — если бы он стал генералом... Или хотя бы полковником, и приехал бы на коне! Тогда, может быть...

— А может, он ещё и станет генералом!

— Ха! Сказала! Да на генерала знаешь сколько нужно учиться?.. Ты на него только посмотри! У него всё лицо конопатое!.. Хоть бы он гвардеец был, а то так... Ведь он даже не сапёр, он из строительного батальона. У него на погонах эмблемы такие. Другие разминируют, а он им обед доставляет.

— А ты, Боречка, очень даже вредный! — сказала Ирина и пошла впереди меня.

— Ну и пожалуйста! — закричал я ей вслед. — Зато, к вашему сведению, я правду говорю. Никакой он не герой! И не будет им никогда!

И опять мы с Ириной поссорились! И весь вечер она со мной не разговаривала, хотя цветы Алевтине Дмитриевне мы передавали вместе.

Алевтина вдруг покраснела сильно-пресильно. У неё даже слёзы на глазах выступили.

— Хорошо, — сказала она. — Только больше, пожалуйста, не исчезайте. Завтра мы пойдём в деревню давать концерт. Ты, Ира, будешь стихи читать, которые мы репетировали, про урожай. А ты, Хрусталёв, никакого номера не приготовил, ты всё бегаешь где-то, и поэтому тебя не включили в программу.

Она говорила, а сама всё время невольно прижимала букет к груди и зарывалась лицом в пахучие цветы. И лицо у неё было какое-то особенное! Счастливое. Только она очень стеснялась, что ей цветы подарили...

Мне было хорошо на неё смотреть. Если бы я знал, что она так обрадуется, я бы ей раньше целую охапку цветов принёс бы и подарил.

— Ничего! — сказал я. — Ничего, что меня в программу не включили. Я, Алевтина Дмитриевна, со зрителями посижу с большим удовольствием.

Глава тринадцатая

ВИВА, ИСПАНИЯ!

После завтрака весь наш лагерь пошёл на сенокос. Это был настоящий парад! Грохотали барабаны, развевались отрядные флажки, и ребята шагали в строю, весёлые и торжественные. Старшие отряды косили и сгребали сено, а мы, поскольку нам были велики грабли (а к вилам и косам нам строго-настрога подходить запрещалось), должны были дать концерт.

К нам пришла тётенька с баяном, и мы начали репетировать. То есть наш отряд. Я не репетировал, потому что они уже давно начали, а я в занятиях не участвовал. Алевтина велела мне сидеть в сторонке, а тётенька с баяном говорит:

— А почему он нам не помогает?

— Пробегал! — говорит пионервожатая.

А баянистка на меня внимательно посмотрела и говорит:

— Но нам же очень нужен помощник режиссёра.

Меня назначили помощником режиссёра. Ирина (она читала стихи и была конферансье) говорила мне, кто выступает следующим, а я искал его и выталкивал на сцену.

Это было очень трудно, потому что я волновался, а ещё потому, что все ребята сильнее меня, и мне было трудно их выталкивать. Я очень устал на репетиции и всё думал, что если и на концерте придётся ребят так выталкивать, то, пожалуй, они мне могут вечером тёмненькую сделать.

Мы пообедали раньше, чем всегда, и пошли давать концерт. На лугу уже никто не работал. Женщины-колхозницы и наши ребята сидели в кружке и слушали выступление того однорукого немца-коммуниста, которого я уже видел с пленными. Он говорил громко и размахивал кулаком над головой. Говорил он почти без акцента:

— Сейчас в Германии сложилось, практически, два государства. Одно стремится к миру и социалистическому пути развития, а второе мечтает о новой войне!..

Он говорил долго, и его внимательно слушали. Я увидел, что у берёзы стоит Гриша Пчёлко, как всегда в своём грязном промасленном комбинезоне. Он во все глаза смотрел на Алевтину.

— Здрасти! — сказал я.

— Ой! Та то ты, хлопчик? Здравствуй!

— Я ваши цветы передал, не беспокойтесь. Они, по-моему, очень нашей пионервожатой понравились. Она их всё время нюхала, и сейчас они у неё в комнате стоят. А чего вы тут делаете? — спросил я, потому что Гриша очень смутился.

— Я? А ось мий трактор стоит. — Он показал рукой, где, действительно, за лугом стоял трактор. — От та пустошь вся выгорела от огнёмётов и всего такого, мы её весной разминировали, а сейчас я её орю, чтоб траву посеять.

— А чего вы пашете, разве вы колхозник?

— А у их и трактора нема. Та и поки солдаты должны эту землю орати, я зорю. Сапёры ещё пройдут, а уж потим сняты.

— Начинаем наш концерт! — прокричала Ирина.

— Ну, я пойду, я же помощник режиссёра! До свидания.

— Добре. Иды. До побачения!

Сначала ребята делали гимнастические пирамиды. Больше всего поправилось, когда мальчишки все стали на одно колено и стали вглядываться вдаль, а Федул, Серёга и Бойцов Коля взяли доньшко от бочки и подняли на нём Липу. На Липе была зелёная фуражка, сделанная из бумаги, и он тоже вглядывался вдаль, а потом читал оттуда сверху, что граница на замке. Эта пирамида называлась «Пограничники». Все очень хлопали в ладоши, а немец, его звали товарищ Кляйст, хлопал себя ладонью по колену, потому что второй-то руки у него не было.

Девчонки танцевали «барыню», и лезгинку, и «татарочку». Ирина читала стихи. А под конец объявила:

— Мужской квартет!

Федул, Липа, Бойцов и Серёга выстроились, переглянулись и стали под музыку маршировать.

А потом Липа пропел:

Возьмём винтовки новые! На штык флажки!

Серёга подхватил:

И с песнею в стрелковые пойдём кружки!

И все вместе они выкрикнули:

Раз! Два! Все в ряд! Шагай, отряд!

У них очень здорово получилось. Мне понравилось, ноги под такую песню сами маршировали. Липа прокричал следующий куплет:

Когда война-метелица! Придёт опять! Должны уметь мы целиться! Уметь стрелять!

В этот момент одна из женщин-колхозниц рядом со мной тяжело вздохнула. Я сразу перестал маршировать. Женщины пристально и печально смотрели на квартет. Никто не улыбался. У них были тёмные усталые лица и большие загорелые руки...

— А почему? — спросил громко дядя Толя, когда Ирина объявила, что концерт окончен. — Почему у вас артист Боря не выступал? Очень просим спеть! — И он захлопал в ладоши. И все сказали: «Просим». Мне даже жарко стало, но я вышел в круг.

— Он же не репетировал! — сказала Алевтина.

— Ну и что, засмеялся дядя Толя. — Он всё равно артист.

Я посмотрел на женщин, на грабли, воткнутые в землю.

— «Лучше нету того цвету»! — громко объявил я песню.

— Но это же не детская тематика! — сказал начальник лагеря и строго заблестел очками. Но я уже запел, и тётенька баянистка ловко стала аккомпанировать:

Лучше нету того цвету, когда яблоня цветёт...

И колхозницы вдруг заулыбались. Они поняли, что это я для них пою!

Как увижу, как услышу, всё во мне заговорит! Вся душа моя пылает! Вся душа моя горит!

Я представил, что как будто я солдат и иду домой с войны. Яблони цветут, сыплют метелью лепестки. Месяц такой, что если рассыплешь иголки, то их можно подобрать. И ничего, что заросли травой дорожки, потому что по ним четыре военных года никто не ходил!

Теперь уже все мне подпевали. А я начал махать руками, как дирижёр! Мне хотелось сказать всем: «Ничего, что всё разорено, что работа такая тяжёлая и женщинам так трудно. Всё равно остались незабвенные слова, это значит — незабываемые. Это значит — ни про мир, ни про счастье, ни про любовь никто не забыл. И Гриша Пчёлко, может быть, станет генералом, и Алевтина его полюбит. И вдруг произойдёт чудо — и все погибшие вернуться домой. И сын дяди Толи, и сыновья тёти Паши, и мой папа, и дядя, и дедушка».

Мне так хлопали, что я думал, уши треснут. Громче всех хлопал по коленке товарищ Кляйст. Когда все разошлись и принялись косить, а Гриша затарахтел своим трактором, немец подошёл ко мне и всё смотрел на меня и улыбался. Он даже один раз потянулся рукой к моей макушке, но не дотронулся. Он, наверное, боялся, что мне это будет неприятно. У него такое лицо было, совсем как у мальчика, растерянное. Как будто он сам удивлялся, что улыбается. Как будто у него под его нынешним лицом, в суровых складках было другое лицо, весёлое, мальчишеское. И вот он заулыбался, и то прежнее лицо стало видно. Когда он речь говорил, я подумал, что он рябой, а теперь стало видно, что он конопатый. Тот мальчишка, каким он был прежде, наверное, был конопатый.

— Товарищ Кляйст! — сказал я ему. — А вы были в Испании?

— Был, — ответил он.

Тут мы все стали просить, чтобы он рассказал нам про Испанию. Он начал рассказывать про Мадрид, про уличные бои, про то, как шёл в атаку с пением «Интернационала» немецкий коммунистический батальон, как дрались в небе «курносые» — советские истребители.

— А вы спойте какую-нибудь испанскую песню, — попросил я.

Кляйст улыбнулся.

— Я знаю немецкую песню про испанских добровольцев. Её написал Эрнст Буш, немецкий антифашист.



И он запел негромко, прокуренным, непривычным к пению голосом: «Э вива ля Испанья!» И глаза у него сделались стальные и далекие, словно он смотрел издалека на горящий Мадрид, на бойцом, идущих в бой.

И в этот момент грохнуло!

— Ложись! — крикнул товарищ Кляйст. — Ложись!

Мы попадали на землю. Далеко в распаханном поле стояло облако пыли. И товарищ Кляйст побежал туда. Он побежал неуклюже, боком, спотыкаясь о борозды.

Облако осело, и мы увидели, что горит трактор Гриши Пчёлко. А сам солдат свесился из кабины.

Несколько колхозниц поднялись, чтобы кинуться на помощь.

— Лежать! — нелепым тонким голосом закричал наш начальник лагеря. — Женщины, держите детей!

И он тоже побежал по вспаханному полю. А товарищ Кляйст уже был рядом с трактором. Мы видели, как он обхватил рукой Гришу и выволок его из горящей кабины.

Алевтина прижимала наши головы к земле, и другие женщины кричали на мальчишек, чтобы они не вставали.

Кляйст перехватил Гришу за руку и взвалил его на спину. Наш начальник лагеря был ещё далеко и не мог ему помочь.

И тут вместо трактора выросло огромное чёрное дерево. Даже не дерево, а куст высотой до неба. У него было красное основание и дымная верхушка.

Маслянистое огненное облако вырвалось из этого куста и проглотило товарища Кляйста с Гришей на плечах. Навзничь упал наш начальник лагеря, взлетели в воздух какие-то тряпки. И грохнуло во второй раз! Да так, что нас прижало к земле и горячий ветер разметал по полю сено...

Когда я поднял голову, через борозды спотыкаясь шёл наш начальник лагеря, и больше до самого леса не было ничего.

Глава четырнадцатая

ФЕРЦАЙН, БИТТЕ!

Телега догнала меня у поворота.

— Обрато наш Боря из лагеря убег, — сказал дядя Толя.

Он поднял меня под мышки в телегу. Дядя Коля правил Рыжкой, а жеребёнок бежал рядом, то пускаясь вскачь, то останавливаясь и пробуя травку на обочине. В телеге были навалены столбики и планки, сидеть было жёстко, но я терпел.

— Почему же он всё-таки подорвался? — Этот вопрос всё время меня волновал.

— Судьба, стало быть, его такая, — сказал дядя Коля-мордвин, поправляя протез, который стучал о дно телеги.

— Какая там судьба! махнул рукой дядя Толя. — Что она его допрежь-то щадила? Ведь он с конца войны по сю пору на минах.

— Так ведь он же не сапёр!

— То-то что не сапёр. В минах не разбирался. Тракторист он. У них в войну рядом с селом аэродром был. Так вот он поначалу на этот аэродром с отцом пришёл. На тракторе ездили, воронки заравнивали. Потом отца-то убили, так он один стал ездить. Непостижимой души был парень! Это ж подумать страшно! Бомбят! Рвётся кругом, а он на открытом поле со скоростью восемь километров в час взлётную полосу ровняет!

Мужчины закурили. Замолчали. Я сидел на корточках, держась за борта, и меня стучали планки, наваленные в телеге.

— Так, майор рассказывал, он и кантовался при аэродроме. После войны в колхозе опять с трактора не слезал. А тут срок служить пришёл. Опять на трактор — минные поля пахать. Я месяц назад видел, как он работал, так у меня мурашки по спине бегали. Едет, плугом мины выворачивает, а сапёры потом подбирают. Это ж какие нервы надо иметь...

— Так как же он тут-то недосмотрел? — допытывался я.

— А бог его ведаёт... — вздохнул конюх.

— Майор-то объяснял предположительно, — сказал дядя Толя. — Он не мину зацепил, а трос, которым мины были связаны. И не плугом, а гусеницей... Вот одну мину и рвануло. А самого, видать, контузило. Он мотор не выключил. Трактор ехал, за трос тянул, пока всю связку не рвануло.

— Да как же сапёры-то эти мины не обнаружили?! — Я готов был кричать от горя.

— Они на глубине. Да и не всякую мину миноискатель обнаружит. Ящик деревянный с толом или динамитом, а в бок — взрыватель — вот тебе и вся мина, миноискатель её не чувствует, а силы она большой. Куда тебя несёт! — закричал он на жеребёнка, который сунулся под колёса к материнскому вымени. — И этот с ним погиб... — вздохнул он. И мы подумали про товарища Кляйста. — Как он про Испанию-то пел! Ты, Боря, эту песню разучи. Хорошая песня.

Мы выехали на луг. Теперь он был уже весь скошен, и высокие стога сена подымались к небу. Посреди поля стоял фанерный обелиск.

— Смотри ты! Выкрасили! — сказал старик.

Я глянул вперёд. Ярко-красный обелиск был похож на свёрнутое знамя.

— Где и краску-то достали? Сейчас сурика днём с огнём не найдёшь...

У обелиска на коленях стоял человек и докрашивал основание. Это был Александр.

— А ну-ка, подсоби! — попросил его дядя Коля. Они вынули из телеги столбики, планки, лопаты.

Скоро новенькая ограда поднялась вокруг обелиска. Дядя Толя вынул из сумки бутылку с пробкой из скрученной газеты, редиску, хлеб.

— Помянем, — сказал он, наливая в стакан мутную жидкость. — Мне-то нельзя по здоровью... Эй! — позвал он немца. — Садись.

— Данке, — немец застегнул мундир, оборвал нитки с обшарпанных обшлаггов.

— Николай, скажи слово.

Дядя Коля принял стакан и задумался. Он долго морщил лоб, а потом сказал коротко:

— Вечная память Грише Пчёлко, русскому солдату, и товарищу Кляйсту, погибшим в борьбе с фашизмом.

Он горестно вздохнул и залпом выпил. Дядя Толя налил второй стакан и подал немцу. Александр потупился. Немец, стоял на коленях, и большие руки его заметно дрожали.

— Ферцайн, — сказал он тихо. Он говорил почти шёпотом, у него не хватало слов. — Это есть вина германский народ...

— Весь-то народ не виноват, — сказал дядя Толя. — Товарищ Кляйст тоже народ германский.



— Я. Да. — Эйхель очень волновался. — Народ есть люди. Каждый человек... — У него дрожал подбородок. — Народ не есть масса, народ — много, каждый человек. Человек думай: «Я не народ, народ другое». Нихт! Нихт! Каждый есть народ. Каждый есть вина. Кроме Кляйст! Я инженер, майн фатер дас арбайтен. Рабочий. Я учился, учился, учился... Фатер арбайтен... работал, а я учился на деньги. Много учился. Забастовка, революция! Я сказал: «Александр, какой твой дело? Ты есть учиться. Ты строить дороги. Хорошие дороги». Гитлер зажигай рейхстаг. Надо думай! — Александр яростно стукнул себя по лбу. — Александр, думай! — крикнул он ещё раз. — Найн! Я сказал: «Не твоё дело! Отец работай — ты должен учиться. Ты инженер — строить дороги. Не думай! Закрывай глаза, не твой дело!» Я строй дороги, — он повернулся ко мне. — Фроляйн говорил правда: по моя дорога шли танки, шла война. Я делал война! Я убиваль своя дети! — Он быстро вытер глаза. — Ферцайн. Простите... Гитлер сказал: «Коммунист есть враг. Кляйст — враг Германия». Найн! — закричал он и выпрямился. — Кляйст есть Германия! Такой главный Германия! Гитлер есть враг Германия!

Старики не перебивали его. И Александр говорил, с трудом подбирая слова, и я понимал, что он говорит не только нам, он говорит и себе.

— Нельзя быть в стороне. Невозможно. Никогда. Кляйст, Гришка — прости!

Он выпил. И повесил голову.

Старики долго ничего не говорили.

— Ты вот что... — сказал дядя Толя. — Ты, когда в Германию поедешь, скажи там, которые не понимающие, что, мол, мы народу-то не враги. И никогда врагами не были. Мы фашистам враги! Понял?

— Я, я! — загорячился Александр. — Понимайт. Я был нейтралитет, моя вина нейтралитет. Я сейчас есть антифашист! И другие антифашист.

— А насчёт прощения... — продолжал старик. — Рази ты своих детей воскресишь? Вот ему отца воскресишь? — Он заткнул бутылку, покидал лопаты в телегу. — Тут про другое надо думать: чтобы вот ему, — он кивнул на меня, — чтобы ему войны не увидеть. Так вот, чтобы им не воевать. Вот оно и будет вечная память Кляйсту и Грише.

Он напихал мне в карманы молодой редиски, сунул за пазуху кусок хлеба с салом. И телега покатила в деревню.

Мы остались вдвоём с Эйхелем. Немец долго сидел молча. Потом достал из кармана алюминиевую пластинку. Наверное, из миски суповой вырезал. Подошёл к обелиску, попробовал пальцем, просохла ли краска, и привинтил табличку четырьмя шурупами. На белой пластинке было нацарапано:

Я смотрел, как он с силой давит на отвёртку, как плавно входят шурупы в мягкое дерево. Эйхель испачкался краской и долго оттирал её травой.

Потом мы стояли рядом и смотрели на обелиск. Я машинально грыз редиску.

После взрыва на поле со мной что-то сделалось. Я всё стал делать как-то механически: ввели в столовую — жевал, делали гимнастику — махал руками, играли в футбол — гонял мячик, но всё время у меня перед глазами был чёрный куст с красными корнями.

Как будто я жил и одновременно видел сон. Иногда этот сон был отчётливее жизни. Мы шли с Гришей по полю с цветами, и он улыбался и что-то говорил. Александр вёл коня, и дядя Толя ехал на телеге рядом с бравым моряком...

Ночью я просыпался и смотрел в дощатый потолок нашей палаты, и мне слышался голос товарища Кляйста: «Э вива ля Испанья!»

Я разговаривал с ребятами и пел в хоре, и даже смеялся, даже скучал по дому, но всё время думал про Гришу, про Кляйста и про чёрный куст. Из-за этого я не мог ничего делать долго. Возьмусь книжку читать и тут же бросаю, побегу на огород сорняки полоть, подёргаю несколько травинок, и ноги несут меня на кухню. Тётя Паша мне компоту даст, пригорюнится:

— Что ж ты тоскуешь-то так, милый ты мой?

Я компот выпью и не помню, пил или нет. Так бывает во сне: вроде бежишь-бежишь куда-то, а всё на месте... Только в конюшне я не думал о чёрном кусте, потому что там нужно было помогать: вывозить на тачке навоз, подметать стойла, носить воду. И лошади дышали и пофыркивали, переступали копытами, и от этих звуков мне становилось спокойно.

Каждый день ноги несли меня к деревянному обелиску. Пробегая лес, я придумывал, что вот сейчас, когда я выйду на опушку, я увижу распаханый луг, и трактор, и Гришу, и Кляйста, они стоят, разговаривают, смеются...

Я закрывал глаза и шёл, нащупывая тропинку, потом долго стоял с закрытыми глазами, и ветер дул мне в лицо.

— Раз, два, два с половиной, два с четвертью, два с ручками, два с ножками, два с хвостиком... — оттягивал я, считая про себя. — Три!..

Далеко в поле стоял одинокий обелиск.

— Мы построили мост! — сказал Александр, и я вздрогнул от его голоса. — Мы уходите на другую работу. Ауфидерзейн. До свидания.

Я кивнул ему головой, но он всё ещё стоял, глядя на меня своими светлыми глазами, и руки у него беспомощно торчали из обтрёпанных обшлагов мундира.

— Зголко тебе год? — спросил он.

— Восемь лет.

— Майн либе Гуди... — прошептал он, глядя сквозь меня. — Я давал тебе сувенир... на память. — Он торопливо начал шарить в карманах и вытащил потёртую губную гармошку. Она была совсем маленькой на его большой ладони. На, — почти прошептал он. — На... пожалуйста...

«На память!» — подумал я. Можно было усмехнуться и сказать: «Спасибо! Вы, немцы, нам такую память оставили, что мы вас никогда не забудем!» Но я посмотрел на обелиск, потом на Эйхеля...

«У него же ничего, кроме этой гармошки, нет, — подумал я. — У него даже расчёски нет...» И я взял гармошку, положил в карман и пошёл в лагерь.

У леса я оглянулся. Александр всё ещё стоял и смотрел мне вслед. Тощий и долговязый. В нелепых сапогах с широкими голенищами. Я помахал ему рукой.

Глава пятнадцатая

ПРОПАЩИЙ, НИКУДЫШНЫЙ...

Гармошка поместилась в кармане моих штанов. Она шлёпала меня по ноге, когда я бежал по дорожке. Два раза я доставал её из кармана и рассматривал. Она была старой, лак с неё почти весь сошёл. Мне хотелось попробовать в неё подуть, но я почему-то не решался.

А бежал я не в лагерь, я искал кусты шиповника. Дело в том, что мы поссорились с Ириной.

— Дурак! Дурак! — кричала она мне вечером того дня. — Ты говорил — не герой Гриша! А он герой! Самый настоящий! А ты над ним смеялся, что он по-русски говорить не умеет. А он герой! — Она топала ногами и кричала: — Он красивый! Красивый! Ну что, что маленького роста! А ты его конопатым называл! Я тебя ненавижу, ты дурак!

Я ничего не мог ей возразить — всё правильно. Действительно, дурак! Только зря она мне всё это кричала, я и сам понимал. Понимал и то, что кричит она от горя, а не потому, что меня ненавидит.

С ней тоже что-то творилось. Она больше не прыгала, как прежде, целыми днями через верёвочку, не помогала Аньке Тищенко пеленать куклу... Она уходила туда, где ребят было поменьше. Сжималась в комочек и глядела своими огромными чёрными глазами неизвестно куда.

Я-то понимал, что видит она в этот момент не забор, не речку, не лес за рекой, а чёрный куст с огненными корнями...

Со мной она вообще не разговаривала. Вот я и решил нарвать ей того белого махового шиповника, что был в Гришином букете.

В той стороне, где были деревня и конюшня, шиповник не рос, а с другой стороны лагеря на лугу, где произошёл взрыв, тоже не было таких цветов. Значит, оставалось поле, где работали сапёры. И я шёл туда.

Я шёл и думал, как принесу огромную охапку белых цветов и как Ира сначала удивится и скажет: «Это мне?» — а потом будет их нюхать и прижимать цветы к лицу и засмеётся.

— Стой! — из кустов выскочили мальчишки в пионерских галстуках. — Ты куда?

— Вам-то какое дело! — пытался вырваться я из крепких рук.

Но они были из первого отряда, где ребятам по четырнадцать лет, так что не очень-то вырвешься.

— Самое наше дело и есть! — кричали они. — Мы тебя давно ловим. Мы тебя, может, уже три дня ловим. Всех бегунов переловили, один ты остался!

— Ладно, — сказал я. — Пустите. Сам пойду.

Один мальчишка дал мне по затылку:

— Сопля голландская! Ещё кусается! — Он дул на руку, которую я успел укусить.

«Вот тебе и цветы! — думал я, шагая под конвоем и посматривая снизу вверх на своих конвоиров. — Вон какие долгоязые».

Впереди на дороге показалось облако и донёсся гул.

— Что это? — спросил очкарик.

— Не знаю! — опасливо ответил толстяк.

А я сразу догадался. Это мальчишки из деревни скачут в ночное. Сердце у меня заколотилось. «Убегу! Убегу!» — лихорадочно думал я.

Табун был уже близко. Очкарик и толстяк посторонились к обочине.

— Берегись! — закричал передний всадник. И тут я бросился наперерез лошади, чуть не под копыта.

— Куда? — рявкнул верховой.

— А чтоб тебя! Стой! Стой! — кричали мои конвоиры.

Я бежал во весь дух, обдираясь о ветви и петляя меж стволов... Спокойно! Спокойно! Теперь надо спрятаться. Неподалёку лежала вывернутая с корнем сосна. Между комлем и землёй было совсем мало места, но ведь и был маленький. Я втиснулся под ствол и закрылся сухими ветками.

Толстый и очкарик вскоре пробежали мимо. «Спокойно! — сказал я себе. — Сейчас они обратно пойдут». И в самом деле, вскоре с другой стороны ствола раздались голоса:

— Он к лагерю побежал!

— Ну да! На минное поле!

— Да нет, там же посты, они бы его не пропустили. Там же солдаты... Уже бы слышно было, как поймали. Он к лагерю побежал.

— Погоди, у меня шнурок развязался.

Над моей головой посыпался песок. Мальчишки сели на сосну, под которой я лежал. Меня душил смех, хотелось хохотать, хохотать...

— Давай сейчас побежим по дороге. Он наверняка лесом пойдёт, мы его у лагеря перехватим.

И они побежали к дороге.

Я вылез из укрытия. Дурачки! К лагерю побежали. А я шиповника нарву и пойду в лагерь как обычно: через поле и через кухню, со стороны деревни. Ждите меня хоть до утра. Я вернулся на дорогу и пошёл своим прежним, прерванным маршрутом, но теперь я жался к обочине, чутко присматриваясь и прислушиваясь.

Лес кончился. За ним было поле, на котором совсем недавно ходили солдаты с миноискателями. Тогда с Серёгой мы пробирались через лес, а теперь я пришёл по дороге. Она тянулась прямо через вспаханное поле к кирпичным развалинам. Разрушенные каменные стены тонули в густом шиповнике, даже отсюда были видны густые россыпи цветов.

Я достал заранее позаимствованный на кухне нож и принялся срезать колючие ветки. Кусты гудели от пчёл и шмелей, от сладкого запаха кружилась голова. Я резал и резал, руки до локтей у меня были расцарапаны, но я не обращал внимания.

— Поймали! — приговаривал я. — Тоже мне как будто пограничники...

— Стой! — услышал я мужской окрик. — Мальчик, стой, не шевелись!

Я хотел побежать, но голос приказал:

— Замри. Не шевелись.

Я повернул голову. Передо мной стоял майор, командир сапёров.

— Не переступай! — сказал он. — Стой.

У него был такой голос, что я стоял не шевелясь. Ступая, словно по льду, он приблизился ко мне и поднял меня на руки. Ступая след в след, медленно вернулся на дорогу.

— Фу! — тяжело вздохнул он. — Считаю, что второй раз родился! За цветочками пришёл? — И вдруг он выругался такими страшными словами, что у меня затряслись колени. — Ты знаешь, что эти развалины заминированы? Ты знаешь, как они заминированы? Мы их даже трогать не будем — так и взорвём целиком! Нет, милый, так это тебе не пройдёт. Я устал вас ловить. Понял?

Он усадил меня в газик, и мы поехали в лагерь. На ухабах машину тряхнуло, я укололся и только тут заметил, что все срезанные ветви я держу в руках.

Майор ругался всю дорогу; я никогда не слышал прежде таких слов. Газик чуть не вышиб ворота и подъехал к домику начальника.

— Ребя! Хрусталя поймали! — услышал я голос Липского, и скоро весь наш отряд собрался около машины.

— Сиди здесь! — сказал майор и направился в дом.

— Хрусталь, где ты попался?

— Ой, какие цветы!

— Будешь знать, как убежать!

— Его теперь выключат.

— Лопух! Убежать не мог!

Ирины среди ребят не было.

— Иди к начальнику, — сказал майор, садясь в машину.

Я поднялся на ватных ногах на крыльцо.

— Входи, — сказал равнодушным голосом начальник. Он что-то писал на листке бумаги.

В домик влетела Алевтина.

— Вот полюбуйтесь. Гражданин Хрусталёв. Задержан на минном поле. На волосок от смерти.

Алевтина повернулась ко мне так резко, что я даже зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел, что пионервожатая смотрит на букет, словно видит привидение.

— Вы его врачу показывали? Может, он того? — Начальник покрутил пальцем у виска. — Что это за бегomanия такая? Я тут посчитал. Он в день набегаёт около двадцати километров. Эй! — сказал он мне, словно я был глухой. — Ты почему бегаешь?

— Когда как... — прошептал я.

— Что — когда как?

— Ну, каждый раз по-разному...

— А сегодня, значит, за цветочками отправился?

— Не только.

— А что ещё?

— Могилу проведать...

Начальник крякнул и стал медленно ходить по кабинету. Взял за чем-то с тумбочки горн, повертел в руках, на место поставил.

— Так, — сказал он спокойно. — С тобой всё ясно. Иди в отряд. А вот это, Алевтина Дмитриевна, снесите на почту.

Я открыл дверь и сбил кого-то с ног. На полу сидела Ирина, на лбу у неё вспухла шишка.

— На! — протянул я ей цветы. — На. Это тебе...

Глава шестнадцатая

ПРЕДАТЕЛЬ

Когда я проснулся, уже рассвело, но горнист ещё не трубил, и все ребята спали. Я пощупал гармошку, лежащую в кармане моих штанов, и мне так захотелось подуть в неё, что я не утерпел, достал её и приложил к губам. Гармошка неожиданно громко вякнула.

— Ух ты! — Липский поднял голову. — Ценная гармошечка! Дай сыграть.

— Где взял? — спросил Федул.

— На что меняешь? — И Серёга проснулся.

— Не лапай! — сказал я Липскому. — Эна-бена-кена-рена, на гармошку нет обмена.

— Ну дай поглядеть, — ныл Липский, — ну, хоть в твоих руках...

— Ладно. Только не мусольте! Это подарок. На память.

Мальчишки передавали гармошку из рук в руки. Пробовали сыграть, но у них ничего не получалось, только зря надували щёки.

«Вставай! Вставай!» — запел горн. И мы побежали умываться.

После завтрака мы пошли на прогулку. Я всё искал Ирину, но её не было, а спросить у пионервожатой мне было неловко. Как это я буду про девчонку спрашивать. Что ли, я влюбился? «А может, она заболела?» — думал я.

— Э! — не утерпел я всё же и спросил у Аньки Тищенко. — Где Осипяниха?

— Она в медпункт пошла. Говорит, у неё живот болит очень.

«Во дела! Мне стали лезть в голову ужасные вещи. — Вдруг она простудилась — и у неё начался менингит. Это такое воспаление мозга. Или аппендицит...»

Я даже не видел, где мы идём, смотрел себе под ноги, и всё. Иногда, правда, я ловил на себе долгий взгляд Алевтины Дмитриевны. Она смотрела на меня, словно я больной и она меня жалеет. На меня мама так смотрит, когда я иду на уколы или там зубы лечить.

Вообще Алевтина Дмитриевна сильно изменилась. Она стала ещё красивее, но раньше она всё бегала, кричала на нас, расстраивалась, что мы её не слушаем. Сейчас она совсем не кричит, а как скажет, так сразу все бегут её приказание исполнять. После взрыва она стала грустная-прегрустная. То есть она, конечно, старается виду не показывать, даже улыбается, но я-то вижу, что ей совсем не весело. Когда человеку не весело, то как бы он ни улыбался, всё равно это видно.

Вдруг мы услышали громкую песню. Мужские голоса пели какой-то марш, только слов было не разобрать. Скоро мы увидели, как навстречу нам движется колонна. Она подходила всё ближе. Мы остановились. Они шагали в колонну по четыре, широко размахивая руками, и громко пели.

В первом ряду шёл Александр. Он увидел меня и замахал рукой. Я тоже помахал ему.

— До свидания! — закричал он. — Мы построили мост! Мы идём новая стройка! — Он приложил ко рту руки, словно играл на гармошке. — На память! Тебе! Играль!

Я достал из кармана гармошку и поднял её над головой.

— Я! Я! — крикнул Эйхель.

Идущий позади него пожилой немец криво усмехнулся и что-то сказал. Александр обернулся и ловко натянул ему картуз на самый нос, да ещё прихлопнул кулаком сверху.

Пленные захохотали. А тот в картузе пытался его стянуть, но у него ничего не получалось, и он что-то скулил и ругался. Немцы хлопали его по шее, а один дал пинка под зад.

Когда колонна скрылась, мы пошли дальше.

— Не буду с тобой в паре идти! — сказала вдруг Анька Тищенко и пошла в хвост отряда.

Чего это она? И тут я увидел, что все ребята от меня отворачиваются.

— Ну, Хрусталина проклятуций! — сказал Липский. — Я ещё в эту фашистскую гармошку играл! — Он сплюнул и принялся вытирать губы рукавом, будто они были очень грязные.

— Вы что! — закричал я. — Это не фашистская гармошка! Это хороший немец! У него двое детей в войну погибли! Он строитель!

— Немца защищаешь, — усмехнулся Коля Бойцов.

— Коля, — я готов был зарыдать от отчаяния, — что ты Липу слушаешь, он же дурак совсем, а ты же умный парень. Немцы не все одинаковые! У них сейчас у самих гражданская война почти что!

— Предатель! — сказал, словно камнем в меня бросил, Федул.

— Ребята, вы что? Вы что? — унимала Алевтина Дмитриевна. — Боря правильно говорит.

— Или пусть он эту противную гармошку выкинет, или он предатель! — заявил Липский.

— Предатель! Предатель! — закричали девчонки.

— Предатель! Предатель! — подхватили некоторые мальчишки.

— Да вы что! — кричала Алевтина Дмитриевна. — Как стыдно! Прекратите сейчас же!

— Выброси гармошку! Выброси гармошку!

Я достал гармошку из кармана. И вспомнил, что у Эйхеля это была последняя вещь. Может, это единственная вещь, которую он взял из дома, когда его погнали на войну. А дома он не был семь лет. Может, эта гармошка его сына или дочки?

— Нет! — закричал я так, что все ребята замолчали. — Я не выброшу гармошку, что хотите делайте! Не выброшу. Не потому, что она мне нужна. Может, я никогда играть на ней не буду. Просто Александр мне её от всей души подарил, я ему верю! Он за нас! Он хороший человек!

— Ага, — сказал тихо Коля Бойцов. — Они у меня всех родственников в сарай закрыли и сожгли, а я должен забыть?

— Нет, — сказал я, — забывать нельзя, а только...

Я смотрел на них, и они мне казались совсем ещё маленькими. Словно я стал взрослым, а они ещё остались детьми... Я повернулся и побежал от них.

— Вернись, вернись! — кричала Алевтина. — Догоните его!

Но никто меня догонять не стал.

Глава семнадцатая

«СМЕЛО ВДЕНЕШЬ НОГУ В СТРЕМЯ...»

— Дядя Толя! Дядя Толя! Почему они на меня так?

— Ничего, ничего, — говорил старик, поглаживая меня по голове, по плечам и прижимая к себе. — Маленькие они ещё, глупые.

— Но ведь мне тоже восемь лет.

— У тебя не всё в жизни гладко — вот ты и поумнел. Ты ничего, не печалься, они в разум войдут. У них ещё своё будет. Попей, попей водицы. Вот и ладно... Видал, какой над ребёнком самосуд устроили! — сказал он конюху.

— Не говори! Вот она, ненависть-то, и дети малые озлобились... А всё эта война, прахом её разнеси...

Они долго охали и качали головами.

— А гармошку, стало быть, не выбросил? — усмехнулся дядя Толя.

— Нет, — сказал. — И ни за что бы не выбросил! И пусть хоть что говорят!

— Видал! — подмигнул старик инвалиду. — Казак он и есть казак... Упорный! Эх, казак ты мой, казак... Много тебе за своё упорство в жизни трудностей предстоит. А и то сказать, что же это за человек, который за истину не стоит? Это и не человек совсем...

Конюх ничего ему не ответил. Он посмотрел на меня искоса и, припадая на деревяшку, скрылся в конюшне.

— Вот ты всё говоришь: казак, казак... — сказал, вернувшись, конюх. — И отец у него в кавалерии голову сложил, и к лошадям тяготение у него есть, а мы, два пня старых, мальчика в седло не посадим? Это нам минус, стыд и неловкость.

Он вёл в поводу осёдланную лошадь.

— Ну-кося...

Сердце у меня готово было выскочить от радости. Трясущимися руками я выправил стремя. Дядя Толя подсадил меня, и вот я в седле! И вот я на коне! Я на коне! Я еду верхом на коне!

Ничего, что седло старое, с облезлой кожей, сквозь которую проглядывают какие-то доски, это всё-таки седло! Настоящее седло!

Ничего, что подо мною не боевой конь, который храпит и скачет, и бьёт копытом землю, и грызёт удила, а понурая крестьянская коняга. Я на коне! Я на коне!

— Сотня! — кричит дядя Толя. — Пики в руку! Шашки вон! В атаку шагом марш!

Лошадь трогает ровным шажком. Как высоко я плыву над землёй!

Я в седле, и все заботы остались где-то далеко-далеко. Я плыву, и конь покачивает меня... Несправедливость, мои обиды, все неприятности исчезли, словно их не было никогда. Я еду верхом! Какое счастье!

— Эскадрон! — кричит старик. — Рысью марш!

Ой-ой-ой, как всё переменялось! Куда это я? Ой, седло выезжает из-под меня...

— Держись! Держись! — кричит дядя Толя. — Коленками упирайся! Куда? Куда? Стой!

Лошадь останавливается, и я лечу куда-то вверх, вперёд. Она перекинула меня через голову. Ноги мои остались в стременах, я обхватываю ими, как хомутом, конскую шею, а руками упираюсь в землю.

— Ох, да что ж ты, милай, на коне заместо фартука повесился? — говорит конюх, снимая меня.

Я умираю от позора.

- Ещё поедешь? — спрашивает дядя Толя и смотрит на меня, прищурившись.

— Поеду! Да! Поеду!

И вот лошадь опять трусит по кругу, и я изо всех сил держусь в седле.

Один раз, когда я совсем маленький был, мама стала меня укачивать и запела:

Сам узнаешь, будет время, Бранное житьё: Смело вденешь ногу в стремя И возьмёшь ружьё.

А бабушка вдруг говорит:

— Не пой ему эту песню, пожалуйста!

— Почему? — закричал я.

— Да я всё своим сынкам, папе да дяде твоему эту песню пела...

А мне в этой песне нравились слова: «и казак душой», и я всё просил, чтобы мама пела, но она никогда больше меня этой песней не укачивала. И вот теперь я понял почему. Я вспомнил, как вздохнула женщина на поле, когда Липский пел: «Возьмём винтовки новые!..» Вот и мама за меня боялась, что я узнаю «бранное житьё», — это значит войну.

— Ну что, — сказал дядя Толя, — вот уже почти что полчаса катаешься и не упал. Молодец! Ещё научишься. Ещё в «Правде» про тебя пропишут! Ещё мастером спорта будешь.

Я ступаю по земле — ноги у меня стали деревянные.

— Устал?

— Не-а!

— Ты, когда станешь конником знаменитым, нас не забывай, — улыбается конюх. Попомни, что в седло тебя посадили первый раз два старика о трёх ногах...

Я обхватил его руками, прижался к нему изо всех сил и сказал, как поклялся:

— Я вас никогда, никогда не забуду...

«Пусть ребята на меня кричали, пусть называли меня предателем, я не сержусь на них. Они ведь не разговаривали с Александром. Они не ошиблись, как я, когда не догадался, что Гриша — герой. Они жили — не тужили, гоняли в футбол. Откуда им знать, что Александр сам мучается, что его совесть грызёт... А мне надо не спорить, а объяснить... — Так думал я, когда подбегал к лагерю. — А что они меня предателем обзывали, так зато я ездил верхом!»

У лагерных ворот я увидел, как два дежурных вели за руки знакомую фигурку с большим бантом.

— Ирка! — закричал я. — Ирка, за что они тебя?

Девочка шмыгала носом, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать.

— Боря! — сказала она торжественно. — Я твои цветы Грише отнесла, к памятнику. Они меня поймали и к начальнику лагеря ведут — за то, что я убежала. Спасибо тебе, Боря, за цветы! Я тебе ещё раньше хотела сказать.

— Стойте! — закричал я. — А я-то? Я тоже убегал! Меня почему не хватаете? Я каждый день убегаю! Я даже дежурного одного укусил!

— Чокнутый! — сказал дежурный. — На что ты нам нужен! Твоя фамилия Хрусталёв?

— Хрусталёв.

— Тебя из лагеря исключили. Вон за тобой мамаша приехала. У начальника сидит.

— Что? — ахнула Ирина. — Боречка, да как же это так?

— Подожди реветь! Я сейчас сбегаю посмотрю.

Прямо через газон побежал я к дому, где была канцелярия лагеря и где в раскрытом окне был виден начальник. Он разгуливал по кабинету и что-то говорил, блестя очками. Я примостился у окна. Мне не было видно, с кем он разговаривает.

— ...Мне он даже нравится! Честное слово! — Начальник снял очки и стал протирать. — Упрямый мальчишка. Но поймите меня, если бы он у меня был один, конечно, я бы мог заниматься им одним, но ведь их у меня двести пятьдесят. И я не могу одному посвящать больше времени, чем другим. А он всё время убегает. Он не может жить в коллективе. Да, не может!

— Но товарищи его любят! — к своему ужасу, услышал я мамин голос.

— Ну что вы — любят... — засмеялся начальник. — Он всё время дерётся. А сегодня вообще противопоставил себя всему отряду. Достал где-то немецкую гармошку. Выменял, наверное, у пленных. И когда товарищи совершенно справедливо возмутились, выбросить эту гармошку отказался.

— Нет, — сказала мама. — Здесь что-то не так. Я никому и ни за что не поверю, что мой сын стал бы что-то выменивать.

— Поверьте моему педагогическому опыту. Весь отряд, в конце концов, был против него, разве коллектив может ошибаться?

— Простите, — сказала мама. — Вы были на фронте?

— Какое это имеет значение? Я работал на крупном заводе. В конце концов, — у него даже лицо покрылось пятнами, — в конце концов, он нарушает дисциплину, и даже на это я готов смотреть сквозь пальцы, но ведь он убегает на минные поля... В конце концов, я за него не желаю отвечать!

— Это я поняла, — сказала мама. — Скажите, где мой сын?

— Мама! — закричал я. — Я здесь!

Глава заключительная

ТЫ ЖЕ НАС В БОЙ ПРОВОЖАЛ!

Ирина прибежала в палату, когда я собирал свои вещи. Она молча принялась помогать.

— Знаешь, ты извинись за то, что я не простился, — попросил я её. — Скажи, что, мол, так уж получилось... Дяде Толе скажи, дяде Коле-конюху, тётё Паше.

— Ладно! — кивала девочка, запихивая мне в мешок цветные камушки в бумажке, две подковы, которые я на дороге нашёл, пакет шишек, десяток стреляных гильз. Она не дала нести мне мешок и несла его сама до ворот, где ждала меня мама, а весь наш отряд шёл сзади.

— Вы его, пожалуйста, не ругайте! — сказала Ирка моей маме наставительно. — Он ни в чём, ни в чём не виноват. Он очень хороший! А вы все дураки! — Она повернулась к отряду. — Боря, я с тобой буду всегда дружить! Всю жизнь! — И она пожалала мне руку. Серёга Кирьянов чуть не лопнул от зависти.

Вдруг Коля Бойцов ко мне подходит.

— Ладно, — говорит, — Хрусталь, не сердись на меня.

Я ему тоже руку пожал.

— Интересненько! — Липа подходит. — Жили — не тужили, вдруг — бах! — выключают из лагеря. Ты, Хрусталь, на них в газету напиши. Не имеют права выключать!

— А в городе-то ещё и лучше! — сказал Федул. — А тут туда нельзя, сюда нельзя.

Я пожал всем руки, даже Липе. Он тоже всё время с протянутой ладошкой совался.

Мама улыбалась, стоя в стороне, но я видел, как она переживает, и тоже расстроился. А ещё больше я расстроился, когда узнал, что бабушка уехала. Во-первых, я по ней очень соскучился, а во-вторых, с кем же я теперь буду оставаться, когда мама на работу уйдёт?

Бабушка накопила денег и поехала искать могилу дедушки. Он где-то в Белоруссии лежит, а дядя — в Польше, а папа — в ГДР. Туда не доедешь. Главное, поехала, а меня с собой не взяла! И не сказала ничего.

Наша комната мне показалась совсем маленькой. Везде были разложены чертежи, мамины тетрадки, которые называются конспектами.

Мама пошла на кухню еду готовить. В квартире нашей тихо — все соседи на работе. Слышно, как мама кастрюлей гремит, как примус загудел.

Кровать моя вынесена. Ну это ничего, я могу на бабушкином сундуке спать, она же уехала.

Взял я Подушечного Человека. Сел на подоконник, смотрю на улицу.

Видно, как за заводом солнце на закат пошло, за трубы зацепилось. Я Подушечного Человека взял, чтобы успокоиться, но чем дольше сидел я с ним в обнимку, тем больше тревожных мыслей приходило мне в голову.

«Подвел я маму! — думал я. — Теперь, вместо того чтобы ей к диплому готовиться, придётся за мной смотреть, обед готовить».

В самый первый день, когда я стал говорить, что помню войну, ребята со мной спорили, что, мол, такой маленький ничего запомнить не может... Может, я и

правда не запомнил, а мне бабушка рассказывала, а теперь мне кажется, что я запомнил...

Гришу не угадал. Смеялся над ним! А он герой был!.. Он всё время герой был. Я это понял только тогда, когда он погиб. Но ведь то, что он погиб, это не геройство, это несчастье, это горе большое. А геройство — когда он по минным полям на тракторе ездил.

Немцев камнями обкидал. А там и Эйхель шёл, и Кляйст был. Эйхеля — жалко, а Кляйст — коммунист, герой. А я не разобрал — сразу за камни.

И каждый день из лагеря бегал. «Скучно в лагере, скучно!» Пусть скучно, а нужно было не бегать. Потому что Алевтина за меня волновалась, начальник лагеря. Он хоть и выгнал меня, а сам вообще-то ничего дяденька. Когда был взрыв, ведь он тоже к трактору побежал...

Когда с ребятами я спорил, надо было не спорить, а объяснять. Ведь они про Александра ничего не знали...

На минные поля зашёл и маму как подвёл!



Никудышный я человек! Всем от меня только плохо. Нет! Не успокаивал меня Подушечный Человек. Наверное, он потерял свою силу. Раньше, только возьмёшь его в руки, сразу так хорошо на душе становится, а теперь только хуже.

Я бросил Подушечного Человека на пол. И он упал, как убитый, и ноги у него подвернулись. Ну вот! Ещё и Подушечного Человека обидел...

— Ёжик, ты чего? — спросила мама, входя в комнату.

— Не помогает! Не помогает! Подушечный Человек не помогает! — Я уткнулся в мамино плечо.

— Боря, — сказала мама серьёзно. — Я ведь твоя мама, а что это значит?

— Что ты меня выродила.

— Нет, — сказала мама. — Бывают же приёмные мамы. Возьмут мальчика или

девочку-сироту и воспитывают, а ведь они тоже настоящие мамы получают. Нет, сынок! Мама — это человек, который всегда за тебя. Мама всегда помогает своему ребёнку, даже если ей для этого приходится умереть...

— Что ты! — закричал я. Ты только не умирай! И бабушка пусть не умирает! Пусть все живут! Всегда!

— Да нет, маленький мой, я не про то... Смотри, что у меня есть, — она открыла тумбочку и достала маленькую коричневую дощечку.

— Что это?

— Это очень вкусно! Это шоколад. Я нашему инженеру помогла с чертежами, а он мне вот эту плитку шоколада дал, для тебя. Вот мы пообедаем — и ты будешь её есть с молоком.

— А золотой якорь с обёртки можно вырезать и приклеить на шапку. Правда?

— Правда. Или на книжку, на обложку.

Вот мама всегда так. Она всегда говорит про одно, а потом сразу про другое, но это не значит, что она отвлеклась или забыла: она ждёт, когда я сам заговорю.

— Мама! — сказал я после обеда. — Вот ты говорила, что мамы всегда за своих детей заступаются... А зачем ты мне это говорила?

— А? — сказала мама. — Я вижу, что тебе плохо, что ты мучаешься. Я хочу тебе помочь, а как — не знаю. Ты бы мне рассказал, что у тебя там в лагере произошло. Мы бы вместе придумали чего-нибудь...

И я стал ей рассказывать всё-всё. И не только что делал, но и что думал. Когда всё рассказал, было уже темно. Мы сидели в сумерках.

— Я думал, вот приеду, возьму Подушечного Человека, и всё успокоится, а он силу потерял...

— Нет, — сказала мама. — Подушечный Человек тебе больше не помощник. Ты стал совсем большим. Ну что ж, видно, настало время дать тебе письмо.

— Какое письмо? Мне?

— Тебе, — спокойно сказала мама. — Тебе письмо от папы. Он его на войне написал для тебя.

Она включила свет, открыла комод, порывшись, достала платок и, развернув его, вынула бумажный треугольник.

Это было первое письмо, которое я получил! Настоящее письмо! Да ещё от папы!

Сначала я ничего не мог прочитать, потому что оно было не по-печатному написано. Я хоть и умею по-письменному читать, но всё-таки хуже, чем по-печатному. Да ещё написано было карандашом — буквы скакали в разные стороны. Видно, что папа очень торопился, в некоторых местах бумага была даже прорвана.

«Здравствуй, мой дорогой сынок! — разобрал я первую строчку, и сердце моё точно кто-то взял в кулак и сдавил так, что даже дышать стало тяжело. — Пишу тебе это письмо, потому что у нас тут такое начинается, что... — дальше было зачёркнуто. — Я всегда с тобой, день и ночь я думаю о тебе, обо всех вас. Мы всегда рядом с тобой — живые и мёртвые. Поэтому ты ничего не бойся. Даже если ошибёшься — не пугайся.

Никому не делай зла! Не мсти! Настоящий человек всегда добрый.

Тебе будет очень нелегко. Мы идём по России, и Родина наша искалечена,

изранена войной. Тем, кто останется в живых, будет страшно трудно всё построить заново. Сколько народу погибло! Мы не сможем дать тебе совет в трудную минуту. Ты должен до всего доходить сам. Думать сам!

Запомни главное: ты — русский, ты — советский человек, ты сын честных людей. А потому никогда не клони головы!

Ты, наверное, не помнишь. Но я тебя видел! Мы пошли в прорыв около нашего города, когда фашисты побежали. И я шёл мимо нашего дома. И всё смотрел, смотрел на него. Вдруг в первом батальоне стали кричать „ура“. И я тебя увидел. Ты стоял на бугре и махал нам шапочкой. Я узнал бабушку, она никак не могла вскарабкаться на склон. Это был ты, мой сын. Ты нам кричал или пел. Мы очень торопились. Мы почти бежали, потому что нужно было догнать фашистов, пока они не успели окопаться и занять оборону. Я не мог выйти из строя. Но я узнал тебя!

Мы шли бить врага, и ты провожал нас в бой!

Тебе очень рано придётся стать взрослым, чтобы заменить нас... — тут опять было зачёркнуто. — Помни, человек становится взрослым, когда начинает думать. Учись думать!

Жалей маму, бабушку. Жалей всех людей. Заступайся за слабого. А трудностей не бойся. Если трудно, — значит, ты плывёшь вперёд. Легко только тому, кого по течению сносит и он не борется. Если трудно, значит, ты растёшь. Будь Высоким и Гордым. Мой сын, моя кровь — Борис Степанович Хрусталёв — русский человек!

Если тебе будет одиноко, посмотри на звёзды. Мы здесь на фронте смотрим на них и думаем о вас. Посмотри на звёзды — это я смотрю на тебя!»

Дальше была нарисована карандашом кривая пятиконечная звезда с лучами.

Я читал и читал это письмо, я его уже выучил наизусть. И всё повторял про себя: «Борис Степанович Хрусталёв — русский человек». Меня ещё никто не называл по имени-отчеству, и это звучало торжественно и гордо.

Мальчишки смеялись надо мною, говорили, что это я всё по рассказам представляю, как на бугре стоял и махал войскам на прощанье. А я помню! Мой папа подтвердил, что я помню. Он меня видел. Какое счастье, что он меня видел!

Я всё никак не мог уснуть. Всё ворочался. Мне хотелось опять и опять перечитывать письмо. Но мама сказала: «Это не такое письмо, чтобы читать его каждый день», — и убрала его в комод.

Звёзды заглянули в окно. «Это я смотрю на тебя!» — я словно услышал голос папы. И не только папы, но и Гриши, и дяди Толи, и конюха Николая, и товарища Кляйста.

Я встал и, тихонько ступая на половицы, чтобы не разбудить маму, подошёл к портретам.

Дедушка, дядя и папа смотрели на меня с фотографий. Дедушка в пенсне, как у писателя Чехова, шурился, словно спрашивал: «Ну-с, как дела, молодой человек?»

Дядя улыбался широко и весело. Лихая пилотка была сдвинута на бровь. «Не робей, парень!» — подмигивал он мне.

А папа смотрел строго и серьёзно. «Кем ты вырастешь? спрашивал он. — Не клони головы. Правда на твоей стороне! Расти скорее!»

Крашенные половицы холодили мне пятки, длинная ночная рубашка, от которой я совсем отвык в лагере, щекотала мне щиколотки.

Лица на портретах, освещённые луной, жили.

И тогда я сказал им:

— Не беспокойтесь за меня! Посмотрите — я расту!

